

Б И Б Л И О Т Е К А

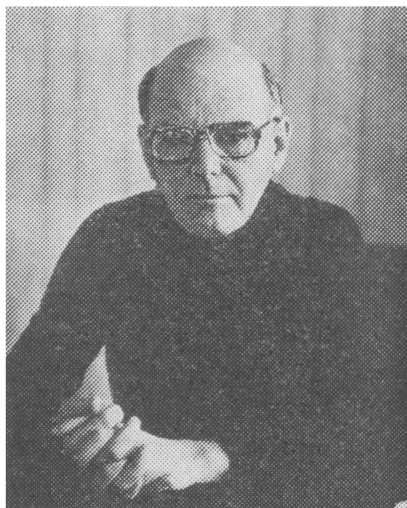
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 11

1985



Виктор ТЕЛЬПУГОВ

***ДЫХАНИЕ
КОСТРА***

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

Виктор ТЕЛЬПУГОВ

ДЫХАНИЕ КОСТРА

Короткие повести и рассказ

Виктор ТЕЛЬПУГОВ

Виктор Петрович Тельпугов родился в Москве в 1917 году. Тут работал токарем, учился, занимался планерным спортом. Война застала будущего писателя в 214-й воздушно-десантной бригаде, в составе которой он участвовал в борьбе с фашистами на территории Белоруссии. После ранения и госпиталя снова стоял за токарным станком, редактировал заводскую многотиражку в городе Энгельсе. В конце войны был направлен на Высшие газетные курсы при ЦК ВКП(б), затем работал в ЦК ВЛКСМ, в «Комсомольской правде».

С начала шестидесятых годов активно выступает как прозаик — автор коротких рассказов, а затем и коротких повестей. Широкую известность получили книги Виктора Тельпугова «Азбука Морзе», «Упрямая лампа», «Журавли над Москвой», «Деревянный кораблик», «Парашютисты», «Все по местам!», «Польнь на снегу» и другие. В 1982 году в издательстве «Художественная литература» вышел двухтомник избранных произведений писателя.

ДЫХАНИЕ КОСТРА

I

Зимы в тех краях длинные, суровые. Когда на дворе минус двадцать, местные жители будто бы говорят:

— Потеплело.

А в основном — под сорок, под пятьдесят, в горах иной раз даже под все шестьдесят закручивает. Из ртути дробины и пули ковать можно. Охотники, а охотник там почти каждый, именно так якобы и делают.

Обо всем этом я наслушался всяких блей и небылиц по пути из Москвы в Кызыл, на аэродромах и в самолетах, которыми добирался — до Саянского хребта лайнерами, потом, после трехсуточной отсидки из-за непогоды, через Саяны зашвыривали командированный народ мелкими партиями на крохотных самолетиках, способных в случае чего сесть чуть ли не на вершину сосны и остаться притом невредимыми и дров в тайге не наломать.

Так или иначе к вечеру пятого дня пути был я на месте. Не на макушку сосны сели, но в момент приземления, когда машина дробно и мягко затарахтела колесами по снежному насту, вспомнились мне слова отставшего где-то попутчика про удивительные способности предназначенных для Севера мини-самолетов. А может, и впрямь в объятия сосны угодили и раскачиваемся на упругих ее ветвях? — на мгновение подумалось мне, и ноздри защекотал щемящий сердце ворвавшийся снаружи запах хвои и давно обжитого дома.

Это ощущение преследовало меня до самой гостиницы, вернее, гостинички, в каждом уголке которой пахло уютом. Устроившись и завалившись спать в отведенном мне номере, я думал о том, как хорошо, что и здесь, за тридевять земель от родного очага, о тебе заботятся, даже притащили в номер пушистый шерстяной ковер, на котором рукою какой-то мастерицы-волшебницы вытканы сосны, сосны...

Проснулся я, судя по всему, через много часов — в окно моей комнаты сквозь ледяной панцирь ломилось солнце. Ну ты даешь, старик! — попрекнул я сам себя. И тут же сам себя оправдал. Дорожка

ведь не из легких была, все силы выпотрошила, да еще и ангину подбросила — в горле у меня засела целая горсть жареных гвоздей. Впрочем, ангина ангиной, а дело делом. Упущенное надо было наверстывать, и чем скорее, тем лучше.

В вестибюле меня ждали те, к кому я приехал. Ждали, видимо, долго, но, когда я стал приносить извинения, старались доказать мне, будто сами только что пришли. Вид же у них был слишком «оттаявший», раздобревший — попивали крепкий, почти черный чаек из пиал, и я с ходу был втянут в веселое это чаепитие. А когда наружная дверь на мгновение отворялась, в вестибюль вкатывался громадный клубок белого воздуха. Такой громадный и такой стылый, что невольно хотелось посторониться.

Я снова и снова вспоминал все, что слышал в дороге про здешние зимы, а хозяева как могли старались подбодрить приезжего человека:

— Вчера у нас была оттепель. Сегодня мало-мало подмораживает. Завтра или послезавтра опять потеплеет.

Я не знал, шутят хозяева или говорят серьезно, но были они такими приветливыми, что по крайней мере на душе у меня становилось теплей. К тому же я москвич, стало быть, человек в какой-то степени тоже северный, к холодам привычный. Из гостинички мне, однако, выходить было строжайше запрещено, пришлось все обсуждать и решать «на месте». Номер мой, в который мы все скоро подналичь, превратился в рабочий кабинет. На разные голоса читались и перечитывались стихи, стучала привезенная мной портативная машинка «Эрика», скрипели перья, шелестела бумага, разгорались страсти. И так с утра до вечера, а иногда еще и с вечера до утра.

На дворе между тем все крепчал мороз. Несмотря на все принятые меры по утеплению моего жилья, ледяной панцирь на окне становился все толще — через него уже с трудом пробивался солнечный свет. А потом и вовсе оконный лед сделался пепельно-серым, непроницаемым.

— Завьюжило, — сказал кто-то из хозяев. — Теперь уж точно мало-мало потеплеет.

— Завтра или послезавтра? — попробовал уточнить я.

Ирония в моем вопросе уловлена не была:

— Снег как-никак греет в горах.

Я понимал, что с приходом «оттепели» кончится мое заточение, и потому спросил как можно более оптимистично:

— Пули ковать нельзя будет?

— Наковали уже, хватит. В эту зиму план по морозам мало-мало выполнен.

Вот и пойми их, северян этих, думал я. «Мало-мало выполнен»... Что должно обозначать сие? Хорошо это или плохо? Всем нутром своим чувствовал — закаленные, ко всему привыкшие люди устали от холодов, ждут не дождутся прихода тепла, хотя бы и мимолетного.

Решил спросить об этом самого старшего — Монгуша, человека с обвисшими, сизыми усами. Тот улыбнулся — раскосо, грустно.

— Мне что зима, что лето. Вечная мерзлота! — Он выразительно похлопал себя по коленям. — Ты вон Эрко спроси, он моложе нас всех. Он тебе точно скажет, может даже и под рифму, с ним такое бывает — поэт!

Эрко от прямого ответа уклонился, шуткой отделался:

— Зима у нас — лучшее время года. После весны и лета. И даже, пожалуй, осени. Но я и зиму люблю!

Старику шутка понравилась. Он скосил глаза в мою сторону.

— Я ж говорил тебе! У них спрашивай. Молодежь — самый мудрый народ в горах, самый толковый.

Монгуш провел заскорузлой, неразгибающейся ладонью по сизым усам, помолчал минуту-другую и добавил:

— Самый мудрый, самый толковый. После стариков, конечно.

Посмеиваясь друг над другом, один другого вышучивая на все лады, мы тем не менее медленно, но верно делали свое дело, и оно начало постепенно продвигаться вперед. Может, потому начало, что витал над нами почти невидимый, неуловимый, но прекрасный дух жизнелюбия, умения не скинуть перед самой сложной и срочной задачей. Мы и не скидали, несмотря на то, что не все шло поначалу гладко, и не глядя на то, что Москва уже поторапливала, не скупилась на телеграммы.

— Пусть столица не нервничает, — успокаивал меня Монгуш. — Антология нужна? Будет антология. За одну неделю? Мало-мало немножко времени, но будет и за неделю, так и передай Москве.

Снова и снова звучали стихи, разгорались споры, шелестела бумага, скрипели перья, стрекотала «Эрика», на которую кое-кто из хозяев посматривал с завистью, в том числе и самый старый.

— Я могу вам подарить, папаша, это чудо двадцатого века. Вот напечатает все, что надо, и подарю. Хотите?

— Спасибо, не надо. — Он протянул вперед собранные в коричневую щепотку неразгибающиеся пальцы. — Эрко подари — он на ней полное собрание своих сочинений отстучает. Отстучаешь?

Парень смутился. Я сказал:

— Закончим труды, и машинка твоя, Эрко. Только с условием, чтоб выдал когда-нибудь все сто томов своих партийных книжек. Согласен?

— Сто, пожалуй, не осилю, — засмеялся Эрко, обрадовавшийся тому, что все оборачивалось шуткой. — Девяносто девять в самый раз будет.

Мне и в самом деле вдруг захотелось оставить Эрко на память машинку, объездившую со мною полсвета. Парень талантливый, серьезный, стихи его о Саянском перевале, о вершинах, о сходе снежных лавин поразили меня своей подлинностью — в каждой

строке их так и слышался грохот весенних снегов, тронувшихся с заоблачных круч в низины.

— Непонятно одно, Эрко,— сказал я ему как-то, когда мы остались вдвоем,— снежный обвал — хорошо это или плохо? Ты его воспевашь, а в моем представлении обвал — стихийное бедствие.

— В общем-то так,— согласился Эрко,— но картина какая! Вершины просыпаются ото сна, становятся еще выше.

Я честно признался, что мне, горожанину, трудно такое понять, но стихи получились, на антологию «тянут», только как бы, например, предпочел обвал наблюдать откуда-нибудь издалека.

— Со смотровой площадки? — засмеялся Эрко.

— Или по телеку,— ответил я.

— Но человек, который отснимет такую пленку, должен быть в центре события, согласны? В самом центре.

С этим спорить было нельзя. Я и не спорил. Мне все больше нравились люди, с которыми меня свела судьба,— мужественные, спокойные, волевые. И уже с грустью думалось о том, что вот еще несколько дней, и нам придется расстаться.

Я уже испытывал необходимость подарить парню машинку, но знал только, как деликатнее это сделать. Северяне — народ гордый, самолюбивый.

Все, впрочем, обошлось как нельзя лучше. Окончание нашей работы совпало с днем рождения Эрко — тут я уж под двойной праздник получил право сделать подарок. Мы были приглашены на торжество всей нашей бригадой во главе с Монгушем, все эти дни лечившим и вылечившим меня от ангины.

Семья именинника оказалась небольшой — он и жена его Ольга, очаровательное зеленоглазое существо. Я повеселел сразу, как перешагнул порог этого дома. Подумалось: если замечаю, какой цвет глаз у молодой женщины, стало быть, здоров, совершенно здоров! Не скрывая, чистосердечно признался в этом всем собравшимся, в первую очередь, конечно, Эрко, точнее Эрику, как называла его Оля. Гости и хозяйка в ответ на мою откровенность дружно расхохотались. Громче всех новорожденный заливался. По всему было видно, как рад он, когда кто-нибудь замечает, как прелестна его жена. Она и в самом деле была красавицей, способной покориť сердце любого мужчины,— стройная, женственная во всех движениях, а от глаз вообще невозможно было оторваться. Узкие, чуть лукавые, они полыхали глубоким зеленым огнем. Полыхали без всякого кокетства — просто от молодости, от самой возможности жить на свете, от счастья ждать ребенка (это ни для кого уже не могло быть секретом, хотя каждая складочка широкого платья Оли старалась бдительно нести стражу семейной тайны). Хозяйкой Оля тоже оказалась отличной. На столе было множество диковинных, благоухающих блюд. У меня снова запершило в горле. Теперь, слава богу, не от ангины.

Пришедшие с шутками-прибаутками стали вручать имениннику подарки. За охотничий нож с него потребовали двадцать копеек. Огромные рукавицы из нерпичьего меха виновника торжества заставили тут же надеть, и парень вынужден был подчиниться. Посчитав момент самым подходящим, я решительно извлек из портфеля свой подарок.

— А это «Эрика» специально для Эрика! Полное собрание сочинений за тобой, учти. В ста томах. Начни со стихов о вершинах, которые весной расправляют плечи.

— Вам, правда, понравилось? — смутившись, спросил счастливый именинник.

Услышав, как хвалят стихи мужа, Оля вышла из комнаты.

Ее несердитым окриком воротил Монгуш:

— Куда ж ты, хозяйка? Иди сюда и слушай! Я тоже скажу: про горы хорошо.

Оля покорно вернулась, села на свое место. Лицо ее пылало. Старик подливал масла в огонь:

— У него еще про любовь неплохо. Про зеленоглазую одну, красивую такую. Про кого это он мог написать, а? Он и сам ведь красив, так все у нас говорят. Ты за ним мало-мало поглядывай, женушка, в оба смотри.

— От этого Эрика среди женщин истерика! — лихо срифмовал кто-то из молодых.

Долго ли, коротко ли продолжалось веселое наше пиршество, вечер пролетел, как мне кажется сейчас, слишком быстро. И дело вовсе не в соленьях-вареньях, которых было великое множество. В атмосфере, царившей в доме. Хотя и яства были отменными, необычайно вкусными. С одним из них вышло, правда, у меня осложнение. Сквозь дымок, густо клубившийся из трубок всех систем и калибров, в комнату вплыла вдруг торжественно несомая Олей запеченная голова молодого барашка — с черной сморщенной мордочкой, с обуглившимися, искривленными от огня рогами. Сам вид этого блюда, рассчитанного, как я понял, на самых завзятых гурманов, привел меня в смущение. Я баранину не люблю с детства и не ем ни под каким соусом, а тут еще в таком варианте...

Не притронусь, решил я, и откровенно перевел взгляд на закуски, мною уже проверенные. Но Оля подошла сразу именно ко мне, остановилась и ждала. Сосед шепнул мне, что отказываться ни в коем случае нельзя, — гостю, приехавшему издалека, полагается съесть первый кусок, только после этого лакомство может пойти по кругу. Оля ждала, ждали все, я медлил, пытаюсь извуть себя в руки, не обидеть хозяйку, гордую своим кулинарным искусством. Прошла минута-другая, прежде чем я наконец отважился. Отрезал и положил за щеку тонкий, как лимонная долька, ломтик. Сосед подбодрил меня уже не шепотом, громко. Баранья голова поплыла дальше, я провожал ее

глазами, боясь как бы она не дошла до нашей половины стола по второму заходу.

— Правда, вкусно? — спросил сосед. — Ничего нет вкусней на свете!

Вместо ответа я жестом показал ему, чтоб поскорее плеснул мне вина из «вон той» квадратной, большой, как аквариум, бутылки.

«Ну теперь тебе уже ничего не страшно в этих горах. Молодец!» — похвалил я сам себя.

Потом, после нашего торжества, я не раз вспоминал эту фразу. Горы есть горы. Бывают испытания, оказалось, и посложнее.

Когда пиршество подходило к концу, Эрик подсел ко мне и с заговорщическим видом сказал:

— Все уйдут, вы останетесь. Идея есть. Вот такая! — Он, наклонившись к самому моему уху, перешел на шепот:

— Ангина кончилась? Совсем?

— Как не бывало! — твердо, но тоже почему-то шепотом ответил я.

— Работа сделана?

— Общими силами. Утром даю телеграмму в Москву. Пусть не волнуются.

— Завтра суббота?

— Суббота, кажется.

— Не кажется — совершенно точно. А послезавтра?

— Вроде бы воскресный день, а ты как считаешь?

— Я такого же мнения. Так вот в чем идея, слушайте. Человек имеет право на отдых, согласны?

Я все еще не мог догадаться, к чему клонит Эрко, а он «клонил» к чему-то чрезвычайно заманчивому, только слишком медленно:

— Пробыли целую неделю в Туве и Тувы не видели, это порядок, да? Что увезете с собой? Сувениры? Это, как сказал бы наш мудрый Монгуш, совсем очень мало.

— Так что же предлагается конкретно? — спросил я.

— Надо походить на лыжах в горах. Вот! Хотя бы совсем мало-мало, но походить. — Эрко еще раз ввернул словцо старика. — На размышление — ночь.

— Ночь на то, чтобы спать, особенно после того как целую неделю вкалывали, как чертики. Я сейчас тебе твердый ответ даю: согласен! А когда выходим?

— Утром. Чем раньше, тем лучше, конечно. Вы ведь умеете, как я заметил, рано вставать?

— И поздно ложиться, как ты, может быть, тоже заметил.

— Тогда по рукам! — громко воскликнул Эрко, довольный результатами наших переговоров.

— О чем это вы там? — спросил сидевший против нас Монгуш.

— О Туве, конечно, — не соврал, но и не сказал правду Эрко.

Он явно не хотел, чтобы кто-нибудь, кроме нас с ним, знал о нашем плане. Мало ли кто помешать может. Старик, например. Заявит, что ангина — штука коварная. И будет по-своему прав, разумеется. Кто-нибудь посчитает, что оттепель еще не наступила. И в том тоже свой резон будет. Словом, уговор наш был совершенно конфиденциальным, но нерушимым. Решено было только Олю поставить в известность, и то в самый последний момент.

II

Мы поднялись, когда было еще совсем темно. Эрко быстро подобрал мне в кладовочке обувь, лыжи и прочее снаряжение, экипировал меня так, будто мы собрались на северный полюс. Даже рюкзак откуда-то раздобыл — в него было положено многое из того, чем лакомились во время вчерашнего пиршества.

— На всякий случай,— перехватив мой удивленный взгляд, объяснил Эрко.— Горы есть горы.

Вышедшая на поднятый шум Оля заспанным голосом не то повелевала, не то упрашивала:

— Обязательно термос возьмите, термос! Вот он, с вечера еще приготовила. И дробовичок. Я почему-то так и знала, что без лыжного похода Эрик вас все равно не отпустит. Он все время в горы рвется, а тут такой случай! Но помните, день еще короткий, далеко не забирайтесь.

— К вечеру будем! — весело пообещал Эрко, и мы вышли из дома.

Светало. Точнее сказать, вот-вот должен был забрезжить рассвет: он был уже совсем рядом, от него отделяли нас только горы, вплотную подступившие к городу. Горы, в которые лежал наш путь и которые уже манили меня своим величием. Просто притягивали. Не случайно они и похожи-то были на подкову магнита — я это еще в день прилета заметил, на вираже при заходе на посадку. Сказал об этом Эрко, он засмеялся:

— Конечно, магнит. И еще какой! Только, чур, не смеяться — сам я о горах этих больше мечтаю, поверите? То техникум, то армия, то семья, то работа... Сегодня надо наверстать упущенное. Вы тоже будете рады, вот увидите.

— Я уже рад, Эрко. Красотища-то какая! А как дышится! Из-за проклятой этой ангины столько дней взаперти просидеть, а!.. Веди меня, куда хочешь!

Сделав первые глотки чуть кислотоватого на вкус, бодрящего морозного воздуха, я почувствовал себя более чем выздоровевшим — никогда в жизни ничем не болевшим и по-настоящему понял, какую блестящую идею подал Эрко и как я правильно сделал, что согласился.

Оценив мой энтузиазм, Эрко решил быть откровенным:

— Раз вы не новичок в снегах, я предлагаю такой маршрут: Кызыл — Облепиховый лес — Кызыл. Согласны?

— Тут же кругом облепиха, куда ни пойдешь,— счел уместным я щегольнуть эрудицией.

— Правильно, облепиха кругом, почти вдоль каждой горной дороги,— подтвердил Эрко.— Но мне хочется с вами именно до того леса идти, обязательно до того самого.

— В том лесу облепиха, очевидно, особенная? — догадался я.

— В том-то и дело! — воскликнул Эрко и решительно вонзил палки в резко скрипнувший снег, приготовившись торить лыжню.

— Путь, однако, не ближний, учтите.

— Сколько кмэ приблизительно? — все в той же полусерьезной-полувеселой интонации поинтересовался я.

— Врать не буду, не считал никогда, да и был я там давно,— сознался Эрко.— Но к вечеру вернемся, не беспокойтесь. В горах я дома.

Я и не беспокоился. Покорно, не отставая ни на шаг, шел по лыжне, прокладываемой гигантом Эрко. Он делал свое дело мастерски, как наш командир, бывало, любивший повторять во время лыжных походов, что строго параллельные линии тем и отличаются от всех прочих, что никогда не сходятся и не расходятся. Я шел за Эрко, с завистью изучая геометрию оставляемых им следов. Именно с завистью. Только очень опытный лыжник владеет таким искусством. Владет им наш командир. Владеет Эрко. Мне оставалось тянуться изо всех сил, школу свою солдатскую не посрамить. Я и не срамил, помоему. Первые полтора или два часа по крайней мере, пока не добрались до предгорья с густым колючим подлеском, где пришлось продираться через бесконечные кусты, каждая хворостинка которых больно секла меня по рукам, так что даже сквозь меховые варежки чувствовались эти удары. Что касается лыжни, то я ее уже не столько видел, сколько угадывал, отворачивая лицо от лезущих навстречу прутьев.

— Тут мало-мало трудней будет,— обернувшись, крикнул мне Эрко,— но ничего, дальше лес пойдет, там просторнее станет.

— Облепиховый? — спросил я.

Эрко хохотнул и даже остановился, подождал меня.

— Устали уже, да?

Я бодро ответил, что совсем не устал, просто мне интересно, далеко ли еще до цели.

— Значит, устали,— вздохнул Эрко.— Давайте первый привал делать. Не замерзли?

— Уж что не замерз, так это совершенно точно,— не покривив душой, сознался я.— С меня семь потов сошло.

— А нос белый у кого? — Эрко подошел ко мне вплотную.— Быстро оттирать надо! Дайте помогу.

Он снял рукавицы, зачерпнул пригоршней снег, я обиделся:

— Ты за кого меня считаешь? На себя посмотри!

Эрко спокойно сказал:

— День, однако, морозный будет. — Он приложил горстку снега к своему лицу и стал делать движения, которые сперва было рассмешили меня.

Я все же последовал примеру более опытного человека и вскоре почувствовал, как щеки мои полыхнули огнем.

— Вот теперь смейтесь сколько угодно. Вы стали на нормального человека похожи, — не без ехидства сказал Эрко.

— Ты тоже, — как можно более деликатно ответил я.

Тут уж мы действительно расхохотались. Глянул бы кто-нибудь на нас в эти минуты! Краснощекие, красноносые, мы стояли друг перед другом и не могли унять хохота. Чему мы радовались? У каждого своя была причина. Эрко был, конечно, доволен собой — не допустил того, чтобы гость его на ходу превратился в сосульку. Я в общем и целом тоже не сплеховал: вовремя предупредил обморожение, и у кого? У местного жителя! Это тоже что-нибудь да значит. Квиты, одним словом. На равных пока. Эрко был рад, кажется, и этому тоже — молодой не хотел показывать своего превосходства над старшим. Заметив в парне эту черту, я подумал: с таким не пропадешь. Да и почему, собственно, пропадать? Все идет нормально, по заранее обдуманному плану, подумал я. Так и есть. Эрко деловито расстегнул ляпочки рюкзака, освободил плечи от ремней, деловито сказал:

— Привал будем делать малый. Но закусить надо — в дороге всегда на еду тянет. Вы заметили?

— Так это ж в поезде, Эрко. Как только сели — так за еду.

— В горах еще больше. И мы, кстати, не «только сели». Давайте так договоримся: через каждые два часа — привал и заправка горючим.

Теперь я наконец более или менее точно представил себе, какой нам предстоит «кончик». Но вида, конечно, не подал:

— Через каждые, так через каждые.

Эрко посмотрел на меня испытующе и морально-политическим состоянием моим, кажется, остался доволен. Подзакусив, мы тронулись дальше. Лыжня теперь то вертелась передо мной, как змея, то переходила в частую «лесенку». Мы вступили в полосу горного леса. Двигаться стало легче и труднее. Ветки уже не секли по лицу и рукам, но гора все круче начала набирать высоту, как оторвавшийся от взлетной полосы самолет. Через некоторое время я почувствовал одышку, но опять вида не подал. Растренированность, решил я, и пошел чуть медленнее. Эрко тут же среагировал и тоже сбавил шаг. В какое-то мгновение я заметил, что и он дышит уже не так легко, как вначале. Опять квиты, констатировал я, опять на равных.

Скрывая друг от друга усталость, мы продолжали свой марш. Эрко, однако, все чаще стал оборачиваться в мою сторону. Меня это начинало злить. В один из таких моментов я крикнул ему:

— Ты лучше бы вперед смотрел. Заплутаем, не вернемся засветло. Эрко остановился.

— Я вам, кажется, говорил уже, — в горах я дома. Говорил?

— Говорить-то говорил, но на компас стал почему-то поглядывать. Мы вот по Москве без компаса шагаем, и ничего, находим дорогу.

— Есть москвичи, которые от Старого Арбата до Нового без провожатого не дойдут.

— А ты столицу неплохо знаешь, оказывается! — не без удивления заметил я.

— Армейскую службу под Москвой проходил. В частях ПВО. Там меня компасом и премировали.

— Почему именно компасом? — спросил я без всякой задней мысли.

Эрко, очевидно, слышала провокационность в моем вопросе:

— Да не собьемся мы с азимута, не волнуйтесь, не собьемся. Еще два часа прошло?

— Прошло, по моим.

— Ну и отлично. Давайте еще один привал делать. Теперь уже не малый — побольше. Пообедаем.

Мы выпотрошили сброшенный с плеч Эрко рюкзак. Среди всего прочего обнаружили провиант, которого Эрко вроде бы не брал с собой.

— Хорошая у меня жена! — воскликнул он. — Ай, хорошая. Даже витамин не забыла.

— Какой же это витамин? — удивился я, подбрасывая на ладони мелко нарезанные кусочки смерзшегося мяса.

— Витамин, — повторил Эрко. — ВВ называется.

Я сказал, что впервые слышу про такой.

— Вяленая баранина. Чем больше человек съест, тем быстрее одолеет дорогу. Только есть надо много и вот так, смотрите.

Эрко, запрокинув голову, показал, как именно надо есть витамин ВВ. Я покорно послушался и уже через несколько минут почувствовал, что силенки во мне, оказывается, еще имеются, не все израсходованы.

— Теперь до Облепихового и обратно хватит. В оба конца, — уверенно заявил я. — Как считаешь?

— Расчет правильный, — согласился Эрко. — В оба конца. Только надо теперь нажимать на педали. Вьюга скоро начнется, чувствуете? Лыжню заносит уже. Держитесь за мною поближе.

Я пообещал, что не отстану ни на шаг, и мы тронулись дальше. Вьюга, о которой предупредил Эрко и приближение которой я сперва не заметил, через каких-нибудь полчаса действительно началась. Больше того, с каждой минутой она раскручивалась все сильнее, все яростней.

— В горах так бывает,— постарался подбодрить меня Эрко.—
Ничего, ничего — и вдруг...

Я предложил укрыться куда-нибудь:

— Вон хотя бы за ту скалу, видишь?

— А вы, оказывается, совсем горец уже — ориентируетесь правильно. За той скалой сразу другая стоит, между ними — расщелина. Там и переждем.

Через десяток минут мы в самом деле оказались в узком проеме между двумя скалами. Мимо него ветер проскакивал, не успев завернуть, мы получили возможность перевести дух и подумать. Я спросил Эрко, надо ли продолжать путь дальше? Не лучше ли воротиться, пока не поздно? Какую часть дороги прошли? Какая осталась? Сколько километров, хотя бы приблизительно, от этого места до Облепихового леса? И вообще, почему мы должны дойти именно до него?

Эрко, прежде чем ответить, помолчал.

— В том лесу во время войны мы, мальчишки, собирали облепиху для раненых. Многим жизнь спасли. Я думал, вам интересно будет. Там, говорят, мраморная доска поставлена.

Мне стало стыдно за мое малодушие, я сказал, что до Облепихового леса мы дойдем, чего бы нам это ни стоило.

Эрко, кажется, оценил мой порыв:

— Я зря не потащил бы вас в такую даль. Хорошо, что вы меня не ругаете.

— Конечно, не ругаю! Мы должны, просто обязаны продолжить наш поход, как только поутихнет эта чертова выюга.

Эрко, помолчав еще немного, мрачно сказал:

— Если поутихнет...

— Как это? — не понял я.— Она что, долго бушевать может?

— Сколько захочет. В горах так бывает. Ничего, ничего — и вдруг как налетит! Потом опять ничего. Если не кончится через час, придется назад поворачивать.

— Ты что! — запротестовал я.— Когда еще попаду в эти края? Меня ж самого в госпитале облепихой лечили — от ран и от язвы какой-то особенной. И не меня одного. Парень рядом со мной лежал. Безнадегой считали. И что же ты думаешь? Через месяц в маршевую отправился! А здесь Монгуш меня разве не облепихой выходил? Облепиховым маслицем. Я вкус его с военной поры помню. Мне перед самим собой будет стыдно, если не дойдем.

Эрко послушал меня, послушал и говорит:

— Схожу проверю, как там дела.

Он, выкарабкавшись из нашего укрытия, сразу же крикнул:

— Стихает вроде бы, дает нам передышку!..

Я выскочил следом. Эрко пообещал:

— Теперь дело веселей пойдет — крутых подъемов больше не будет. Силенки у нас еще имеются?

Это «у нас» относилось, конечно, ко мне одному, но я не обиделся. Остались, говорю, и про обратный путь найдутся. Давай жми!

Мы не шли — мчались сломя голову. Опять, правда, нарвались на уже испробованные мною колючие заросли, попали под хлесткие их удары. Эрко как-то ловко от них увертывался, пытался меня на ходу учить, как это следует делать, но тут уж было не до ученья.

Примерно через четверть часа я услышал крик вырвавшегося далеко вперед Эрко:

— Узнал, узнал! Скорей сюда!

— Что узнал? — догнав его, спросил я.

— Узнал поляну вот эту! Теперь мне дорога ясна, не заблудимся.

— Теперь? — удивился я. — А до этого?

— Вам честно сказать? — виновато спросил мой проводник.

— Как считаешь нужным, так и скажи, — ответил я.

— Сбился я раза три уже. Не был тут сто лет, вот и морочил вам голову. Но теперь все в полном порядке. Через час будем на месте.

Так бы оно и было, наверно. Но горы есть горы, Эрко сам, может быть, не знал, в какой степени прав.

Вьюга оставила нас ненадолго. Облетела свои владения, и снова оказались мы в ее эпицентре. Было такое ощущение, что она только брала разгон, когда заставила нас укрыться в расщелине. Теперь раскрутилась на полную мощь. Тренировка кончилась, началась игра — силовая, жесткая, бескомпромиссная. Игра, по сути, в одни ворота. Два измученных, теряющих силы путника — и взбесившаяся стихия.

Пришлось делать еще один привал. Незапланированный.

— Хорошо! — в полном разладе с логикой прорычал Эрко.

— Куда уж лучше! — рыкнул в ответ я. — Так хорошо еще не было за весь день.

— Ну, во-первых, день еще не «весь»...

— Во-вторых? — мрачно перебил я.

— Во-вторых, снег и ветер сметают с гор сильный мороз. Начинается оттепель.

— Врешь ты все, Эрко! — Я нарочно назвал его по-домашнему, чтоб не сбивать настроения. — Меня успокаиваешь и себя заодно. Так вот, не надо, Эрик, прошу тебя, не трать времени попусту. День не весь еще, верно, но больше половины прошло. Может, все-таки на сто восемьдесят?

— Нет! — сказал Эрко решительно.

— Ну тогда одна дорога — вперед! — попробовал я найти единственно верный выход из создавшейся ситуации. — Согласен?

— Согласен, только... — Эрик замаялся.

— Какое еще «только»? — не без раздражения воскликнул я.—
Выкладывай уж все до кончика.

— Опять честно?

— Если можно.

— Не пойму я что-то, где перед, где не перед.

— Ничего себе проводничок! Куда же ты смотришь?

Эрко встрепенулся, но не обиделся, промолчал. Я выругал себя за нервозность. Легче от того мне почему-то не стало.

— Как твой нос? — спросил я, чтобы как-то смягчить свою вспышку.

— На месте,— как ни в чем не бывало ответил Эрко, желая, конечно, дать мне почувствовать — понял мое состояние как надо.—
А ваши щеки?

— А шут их разберет! Не о них теперь думать надо.

Эрко согласился, есть заботы и поважнее, но щеки, и даже руки, и даже ноги мои все же обследовал лично и обследованием тем остался в общем и целом доволен, только заставил меня еще раз умыться снегом. Я в долгу не остался, потребовал, чтоб и он сделал то же самое. После этой операции я сказал: — В горах ты дома. Твое слово, Эрко.— Сказал, разумеется, не без ехидства. Но он опять не обиделся, даже повеселел немного:

— Вот вы смеетесь надо мной, а я в горах действительно дома. Только редко бываю тут. А вы в Москве часто? Тоже все больше в разъездах. Верно говорю?

— Верно, но ты шевели мозгами, а то мы тут околеем с тобой.

Эрко с минуту молчал, потом твердо заявил:

— Не околеем. Стихает опять, чувствуете?

Ветер в самом деле вроде бы послаб. Похоже было на то, что метель по кольцу ходит. Нашла себе удобное русло меж гор и вертится по нему как заводная.

— У всякой метели свой характер, свой нрав,— авторитетно заметил Эрко,— как, например, у тайфунов в Атлантике. Метелям тоже, по-моему, имена можно давать. Я бы эту Беркутом назвал. Так беркут над зайцем кружит, прицеливается.

Я в ответ невесело рассмеялся:

— Кто же мы с тобой? Зайцы беспомощные?

Эрко тоже хохотнул, но совсем не так мрачно, как я:

— Нет, нет, вы не так меня поняли. Раз разгадали ее маневр, какие же мы зайцы? Мы, мы...

Эрко искал подходящее слово. Я, заслоняясь от порывов ветра, ждал, что придумает мой спутник — себе и мне в утешение. Может, в самом деле какой-то выход найдет?

Впрочем, честно сказать, никаких иллюзий у меня на этот счет не было. Короткий зимний день заканчивался. Я мысленно подводил невеселые его итоги. До цели мы, конечно, не дойдем. Да и так ли уж

необходимо — поглазеть на холодную мраморную доску в Облепиховом лесу? Ее небось доверху занесло снегами, как заносит нас в эти минуты? За последнюю эту мысль я тут же, надо отдать мне должное, стал сам себя беспощадно ругать. «Малодушный», «неблагодарный», «трусливый» — были в той ругани далеко не самые выразительные слова. Под вой ветра срывалось с моих губ кое-что и гораздо более откровенно-самокритичное. Один из образчиков этой изящной словесности рассердил Эрко:

— Только в панику вдаваться не надо, прошу вас. Эрко завел, Эрко и выведет.

— Эрко в горах — дома, — снова невесело пошутил я над своим проводником.

— Дома, — услышал я очередное, невозмутимо-спокойное. — Дома! А раз так, кушать надо немножко, да?

— Ты же сказал, метель дает нам передышку. Давай поскорее двигать отсюда!

— Быстро покушаем, — повторил Эрко безапелляционно, — потом сразу тронемся. Без горячего нам скорости не хватит.

Он решительно еще раз освободился от своего рюкзака, и тут я почувствовал, до какой степени голоден. Заглатывал остатки нашего провианта, не разжевывая, торопясь, но и в спешке успел подумать: какая вчера прекрасная баранья голова была! Только чудики-горожане, вроде меня, не могут оценить по достоинству всех прелестей национальной кухни. Особенно вкусным показался тот спекшийся кусочек, который я положил за щеку, запил вином, но так и не проглотил, слукавил перед хозяйкой.

Рассказать об этом Эрко или нет? Расскажу, пожалуй. И рассказал. Даже о том, как непрожеванное мясо незаметно изо рта вынул.

— И положил, куда бы ты думал? В горшок с фикусом.

Узкие глаза Эрко стали еще уже.

— Ну ты даешь!..

Я насторожился: послышалось мне или он действительно меня на ты назвал? Вроде бы не послышалось. Хорошо, очень хорошо, решил я. На брудершафт мы с ним пока не пили, и неизвестно, выпьем ли, а первое «ты» уже есть. У тувинцев, как, впрочем, не только у них, это признак особого расположения. И мне, конечно, захотелось услышать слово это еще раз, причем немедленно. Я задал какой-то незначительный вопрос, Эрко не успел ответить: в горах недалеко от нас, вернее, над нами, что-то загудело, заухало — не очень громко, но отчетливо и тревожно. Эрко насторожился, резко закинул рюкзак за плечо и, увлекая меня за собой, бросился в сторону.

— Живей, живей!.. — кричал он, но меня поторапливать было не нужно.

Мы не разбирали, куда мчимся. Сейчас важно было одно — как можно быстрее выбраться из опасной зоны, во что бы то ни стало

разминуться с лавиной, зашевелившейся в высоте, приготовившейся к броску, готовой в любую секунду сорваться, а может, уже сорвавшейся вниз, набирающей силы и скорость...

III

— Повезло нам с тобой! Первый раз за весь день повезло, — сказал Эрко, когда мы, совершив бесчисленное количество фигур высшего пилотажа, забили в расщелину, очень похожую на ту, в которой недавно отсиживались во время очередного налета вьюги.

Стало в горах вдруг необыкновенно тихо, покойно. И ветер унялся, и снежная лавина застопорилась, видно, зацепилась за что-нибудь.

Мы медленно приходили в себя, потирая ушибленные места, приводя в порядок свою амуницию, свои мысли и чувства. Первое, о чем я подумал, были слова Эрко «за весь день». Я не мог пропустить их мимо ушей. Совсем недавно он убеждал меня, что до конца дня далеко еще, теперь вдруг пошел на попятную. Впрочем, какое, к лешему, «вдруг»? Имеющий уши слышит, имеющий очи видит. От вьюги ушли, от лавины схоронились, от темноты куда денешься? Короткий зимний день был на самом излете, предупреждал нас, торопил, не давал передышки. Закрутили нас, заморочили эти горы. В довершение ко всему пошел снег — крупный, густой. Стало темнеть — быстро и бесповоротно. Эрко сделал еще одну попытку прийти к оптимистическому заключению:

— Я говорил тебе, потеплеет, и потеплело.

— Снег и ветер мороз с гор сметают? — напомнил я Эрко его формулу.

— Точно! Сметают. Сейчас двадцать, не больше.

— Допустим, — поддержал я его.

— Значит, не замерзнем. — Он постучал рукавицей о рукавицу. — А что все-таки делать будем? Думать надо. Эрко все время думает. Прямолинейность его обезоруживала и обескураживала одновременно.

Эрко еще разок постучал рукавицами, призывая тем самым меня последовать его примеру. Я послушался.

— Дальше что?

— Эрко предлагает шалаш строить. Валежник возьмем, да? Вот так поставим. — Он сложил рукавицы домиком. — Тепло будет. Переночевку сделаем. Совсем большой привал. Потом долго вспоминать будешь, как ночь провел в горном лесу. А утром Облепиховый лес найдем, он тут рядом совсем, я его носом чую. И домой засветло вернемся, да?

— Да твоя Оля сейчас небось с ума сходит, — полувозразил, полусогласился я.

— Не сходит. Она знает, Эрко никуда не денется. Вот за тебя, наверно, волнуется, и мне попадет, это точно.

Я спорить не стал.

Эрко снова удовлетворенно хлопнул рукавицами. Через минуту-другую он уже вовсю шуровал в залежах занесенного снегом валежника. Я стал, как мог, помогать ему. Он решительно поддержал:

— Давай, давай: на всю ночь разогреешься. А я еще огонь распалю.

План был в общем и целом приемлемый и потому начал осуществляться. Во всяком случае, строительного материала натащили на три шалаша и на добрый десяток костров. Скоро нам стало не то что тепло — жарко. А Эрко, однако, все не мог остановиться.

— Как это у вас говорят — запас карман не рвет, да?

— Не тянет.

— Правильно. Давай, подналяжем еще. Снег вон редеть начал, вон там луна пробивается, скоро снова начнет холодать.

Он показал мне в ту сторону неба, где, по его расчетам, должен был прорезаться лунный диск. Я внимательно поглядел вверх, но ничего рассмотреть не мог. А Эрко все смотрел и смотрел куда-то вдаль, на склон горы, и вдруг напрягся, замер в настороженной позе, вытянулся во весь свой гигантский рост.

— Чуешь?.. — спросил. — Или нет?

— Что чуешь? — не понял я.

— Дымком потянуло...

— Каким дымком? Ты что?

— Дымком, дымком! — упрямо повторил Эрко.

Он сбросил лыжи и одним махом взлетел на ствол полуповаленного дерева, как на лестницу. Я слышал, как хрустели сухие ветви, за которые он хватался, чтоб не упасть.

Через несколько мгновений услышал радостный крик:

— И огонь, и огонь!..

В ту же секунду я оказался рядом с Эрко, на его «смотровой площадке». Он, взяв меня за плечи, постарался как можно более точно навести на цель. Мои глаза слезились от ветра, но вот сквозь слезы, как через линзы, передо мной вдалеке в самом деле раза два сверкнула полоса света. Яркая, манящая. Сверкнула и исчезла. И, сколько я ни всматривался, больше не появлялась...

А Эрко твердил свое:

— Дым! Огонь! Вперед!..

Ломая лыжи, теряя палки, продираясь сквозь колючую проволоку встающих на пути кустов, рванулись мы в ту сторону леса, откуда поманило нас огнем и дымом.

На бегу я думал: почудилось, померещилось. Ни дымка, ни огня впереди, конечно, не было. Мираж, галлюцинация, плод воображения уставших, измотанных людей. Уставших, измотанных, но духом все

же не павших, подбадривал я себя, чтобы не отстать от Эрко. Он, боясь потерять меня, торопил:

— Быстрой, живей!

Хриплые крики Эрко вселяли в меня уже не надежду — уныние. Не дай бог, думал я, простынут легкие у моего напарника. Вот тогда позагораем мы тут, так позагораем! Я окликнул его, попробовал урезонить, настоять, чтоб мы вернулись к валежнику и построили шалаш. Эрко слышал и не слышал. Голос его, поторапливавший меня, то удалялся, то возникал совсем близко. Из груди Эрко стал вырываться уже не хрип — чуть ли не лай. Я в недоумении остановился, затаил дыхание, прислушался. Что это? Опять померещилось? Еще один мираж? Еще одна галлюцинация? Нет, не померещилось, не мираж, не почудилось, не галлюцинация. Возгласы Эрко, хриплые, резкие, доносились до меня вперемежку с хриплым лаем собак... Я стал ломиться через кусты с новой силой. Через минуту-другую до меня долетели женские сердитые крики:

— Да кыш, кыш вы! Я вас!..

Исчезнувшая из моих «линз» полоса света снова возникла в них вдруг с такой отчетливостью, что сомнений больше быть не могло: мы у жилья! Горьковатый глоток ворвался, наконец, и в мою грудь и сладко растаял там.

На ярком экране желтого света замелькали передо мной две человеческие фигуры — гиганта Эрко, отбивавшегося от доброго десятка собак, и женщины, тоже рослой, с огромной палкой в руках, продолжавшей командовать:

— Пошли на место! Пошли!

IV

Женщина, уgomонив собак и оглядев нас внимательно с головы до ног, поняла самое главное: заблудились люди, замерзли, устали, на ногах еле держатся.

— Давайте в дом! — сказала решительно.

Нас, меня особенно, уговаривать долго не пришлось. Мы вошли, точнее сказать, вползли, потому что дом был не совсем обычный. Только осмотревшись как следует, я понял — мы в войлочной юрте, доверху занесенной снегом. В юрте с узким входом, задернутой шкурой, с небольшим круглым отверстием сверху, с огнем, полыхавшим посредине и отбрасывавшим вокруг зыбкий свет.

Усадив нас у огня, хозяйка, ни о чем не расспрашивая, стала в затененном углу греметь какой-то посудой. Я, сняв рукавицы, вытянув руки к языкам пламени, посмотрел на Эрко. По усталым, глубоко впавшим щекам его бродила едва различимая улыбка, обветренные губы слегка шевелились. Мне показалось: еще мгновение, он скажет: «В горах — я дома». Но на сей раз не сказал, не успел

просто — женщина шагнула к нам, поднесла каждому по глиняной пиале — сперва мне, потом Эрко.

Эрко выпил сразу. Я, попробовав, медлил. Непонятного вкуса жидкость остро обожгла мне язык.

— Пей! — приказал Эрко. — Горный чай из овечьего молока. Ну, присоленный немного, ну и что? Мертвых на ноги подымает.

Я, зажмурившись, осушил свою посудину. Хозяйка тут же налила по второй. Эрко снова выпил. Я жестом показал, что больше не могу.

— Ты что? — шепнул Эрко. — На тебе же лица нет! Пей!

Я покорно пригубил пиалу.

Хозяйка между тем продолжала хлопотать вокруг нас. На смену чаю пришел густой духовитый суп в курбатых горшочках.

— Ешь! — подтолкнул меня Эрко. — Тут так водится — сперва чай, потом обед, потом опять чай.

Я больше не сопротивлялся. Суп есть суп, что может быть вкуснее супа? Особенно если намерся или устал до чертиков, если ноги и руки твои гудят и все до единого мускулы пощады просят. А тут все завязалось в один узел — и «просят», и «гудят», и «до чертиков».

Мы ели за обе, верней, за четыре щеки, поглядывая то друг на друга, то на приютившую нас женщину. Она, не переставая угощать, села напротив, пошевелила угли кочережкой, подбросила свежих дровец в огонь, чтоб теплее и светлее было, снова смерила нас озадаченным взглядом. Рассмотрев как следует неожиданных пришельцев, к определенному выводу, судя по всему, не пришла. Отделенные от нее костром, мы были хитроумной загадкой, подброшенной вьюгой. По всему чувствовалось, ее так и подмывало спросить — кто такие? Как занесло вас сюда в такую пору?

Оборванные, изможденные — на кого мы были в те минуты похожи? На Эрко недоуменных взглядов приходилось меньше. Широкоскулое, с узким разрезом глаз лицо его особого удивления, кажется, не вызывало. Меня же черные глаза хозяйки изучали гораздо более пристально. Расспрашивать нас, однако, она пока не считала удобным. Решила сама представиться, тем более, что и мы изучающе поглядывали на нашу спасительницу. Кто такая? Что делает тут одна зимой? Зачем столько собак содержит? Все это было, для меня по крайней мере, головоломкой.

Но чудес, если разобраться как следует, в мире в общем-то немного бывает. Так и тут все оказалось проще простого.

— Мария Чульдумовна звать меня, — неожиданно сказала хозяйка и протянула руку над огнем — сперва мне, потом Эрко.

— Первый раз слышу такое отчество, — откровенно признался я.

— Чульдумовна, — повторила она. — Мать у меня русской была, отец — тувинец. Еще о себе сказать, да?

— Скажите, пожалуйста, Мария Чульдумовна, — подал голос

Эрко, — даже мне, местному, и то не все до конца понятно. У меня наоборот — мать тувинка, отец из русских.

— А чего тут понимать-то? Пасем здесь овец колхозных. Пастухи, одним словом. Я, муж мой Шойдан и двое внуков наших, таких вот великанов, вроде тебя. — Она посмотрела на Эрко. — Скоро все придут с работы. Еще чего сказать?

— Как попали сюда? — вставил и я словечко.

— Это история долгая. После войны уже, с Шойданом.

— А во время войны? — снова спросил я. — Где были?

— Во время войны на войне, — с достоинством отозвалась Мария Чульдумовна. — На Великой Отечественной. Санинструктором в госпитале. С орденом воротилась.

— Однополчане! — Я даже вскочил с места, обрадованно протянул хозяйке еще раз свою пятерню меж языками огня. — Не пропадем, значит.

— Зачем пропадать? — повела плечами Мария Чульдумовна. — У нас в горах свой человек всегда дома.

Эрко, метнув в мою сторону торжествующий взгляд, встал рядом со мной, ждал, когда кончится долгое наше рукопожатие.

— Не обожгись, — сказала Мария Чульдумовна, обращаясь к Эрко, когда и их руки снова встретились над огнем. — У нас дрова тут, знаешь, какие? Сразу после каменного угля идут. Ученый один приходил. Да ты знаешь, вижу, но поберегись все-таки.

В этот миг одно из поленьев «выстрелило», над головой Эрко с шипением пролетела колючая, трассирующая искра. Он успел с шуткой увернуться. Мария Чульдумовна рассмеялась:

— Вот теперь вижу, местный, — она еще раз пошуровала кочережкой в самой середине костра.

Во все стороны юрты полетели желто-голубые звезды, оставляя за собой десятки круто изогнутых, не сразу гаснувших радуг.

— Вот так и живем, — задумчиво сказала Мария Чульдумовна. — Да что же я все о себе да о себе? Вы-то кто такие?

Я решил почему-то пока не услышать вопроса. Эрко был человеком гораздо более эмоциональным, четко отрапортовал:

— А мы, Мария Чульдумовна, писатели. Я начинающий. Он со стажем уже.

— Кто, кто? — не поняла хозяйка.

— Книги пишем, Мария Чульдумовна, — под моим укоряющим взглядом чуть менее бодро повторил Эрко и вдруг осекся.

И в общем-то было от чего: после этого «рапорта» хозяйка поглядела на нас совершенно иными глазами. Они стали у нее еще более узкими, недоверчивыми. Не знаю уж, за кого она приняла нас, но слова Эрко ее чуть ли не обидели. Сразу как-то сникла, ушла в себя.

Наступила долгая, неловкая пауза. Разделенные костром, мы время от времени молча посматривали друг на друга. Мария Чульду-

мовна, закулив трубку, нам табака не предложила, закручивала сизые кольца дыма одна. Плохой признак, решил я. То же самое подумал, конечно, и Эрко. Во всяком случае, вид у него был виноватый. И не без причины. В самом деле, чего было торопиться? Лезть, как на Украине говорят, поперед батьки в пекло. Мне стало жаль Эрко, сделавшего досадную промашку. Но и Марию Чульдумовну понять было можно. Писатели? В такой глухомани? В такую погоду? В таком виде? В такой час? По меньшей мере, маловероятно. Самозванцы какие-то, проходимцы, а то и похлестче того... Леса, горы — мало ли кого сюда занесет!

Выкурив одну трубку, Мария Чульдумовна тут же начала набивать другую. И все молча, молча. И все исподлобья поглядывая на нас через пламя костра.

Сколько так могло продолжаться? Я впервые за весь этот длинный день машинально посмотрел на часы и только тут заметил — они без стекла и стрелок, белый со стертыми цифрами циферблат стал похож на бельмо. Эрко заметил это и, чтобы мне было не так обидно, сказал:

— Мои совсем сорвались где-то. — Он показал мне исцарапанное, все в синяках запястье.

— Несем не только моральные, но и материальные потери, — попробовал было пошутить я.

Шутки моей Эрко не понял.

У меня возникло странное ощущение, будто время остановилось не только на моих часах — вообще. Мы застряли на какой-то мертвой точке. На какой? Надолго ли? Что нас ждет впереди? И известно ли, в самом деле, где «перед» и где «неперед»?

Мрачноватые мысли эти нарушил лай собак. Тех самых, которые чуть не разорвали нас, особенно меня, на подступах к юрте. Теперь они лаяли совсем по-иному — радостно, с повизгиванием, очевидно, приветствуя своих. Так оно и оказалось. Мария Чульдумовна поднялась со своего места, подбросила охапку поленьев в начавший тускнеть огонь, и в юрту один за другим протиснулись трое мужчин — два действительно были великанами, третий чуть поменьше, заросший широкой белой бородой. Прежде чем накормить внуков и мужа, Мария Чульдумовна мрачновато объявила им:

— У нас гости...

Все трое, смерив нас короткими взглядами, вежливо поздоровались. Старший, разгребая пальцами смерзшуюся бороду, устало спросил:

— Накормила?

— Чем богаты.

— Хорошо.

Хозяйка принялась потчевать пришедших, мы с Эрко отодвинулись было от костра, чтоб не мешать людям. Глава семейства воспротивился этому:

— Сидите, сидите, всем места хватит.

Ели пастухи проворно и много, по всему было видно — наработались вдосталь. Отара, наверно, большая, забот с нею хватает всем четверым, даже зимой. Зимой, может, даже больше.

Пока мужчины пили чай и шаркали деревянными ложками по стенкам глиняных горшочков, женщина расспрашивала:

— Кошару починили? Под Белым камнем?

— До той руки еще не дошли, мать, — за всех отвечал Шойдан. — С ягнятником еле управились.

— Подпоры поставили?

— Поставили. Чуть самих не придавило. Снег все идет и идет. Что за зима нынче? Дело к весне совсем, а он валит и валит, ветер дует и дует. Сроду такого не было. Под Белым камнем завтра все справим, если чего не случится. Слышь, собаки воют? Чуют! Сугроб навис такой на самом верху Лысого склона — того гляди, обвалится и пойдет. Ну, ладно, об этом после ужина, мать. Дай спокойно поесть. Ты лучше об гостях скажи. Кто такие?

Мария Чульдумовна медлила с ответом, непривычное слово никак не решалось слететь с ее губ.

— Ну, чего ж ты? — повторил свой вопрос Шойдан. — Мы имеем полное право знать, кто у нас от вьюги хоронится? — Он посмотрел на внуков. — Так, что ли?

Те молча поддакнули.

— Сказывают, писатели, — произнесла наконец Мария Чульдумовна.

— Кто, кто?.. — приложив руку к заросшему уху, переспросил Шойдан.

— Писатели, — повторила Мария Чульдумовна. — Книги будто бы пишут.

Опять наступило молчание — долгое, одинаково тяжелое как для одной, так и для другой стороны.

Мария Чульдумовна вновь закурила, подбросила дров в костер. Пламя взметнулось выше, на несколько мгновений жаркой стеной совсем отделило нас от хозяев. Распаленные желтыми языками огня, лица у пастухов стали бронзовыми, непроницаемыми, как у памятников.

— Надо что-то делать, — выбрав момент, шепнул я Эрко. — Бог знает, что они о нас думают.

— Документов у меня с собой нет, — вздохнул парень.

— У меня тоже. Кто ж мог подумать, что так все обернется? И все же надо как-то выкарабкаться. И чем скорее, тем лучше. Ты поэт, тебе карты в руки.

— Не понимаю, — признался Эрко.

— Стих сочинить можешь? Хотя бы несколько строк. Все сразу бы на место встало.

Эрко растерянно поглядел на меня:

— Но ведь ни бумаги, ни карандаша...

— Ни пишущей машинки, — съязвил я. — Голова на плечах? Чего еще надо? Давай!

Эрко неуверенно, не сразу, но все-таки внял моему совету. Через какое-то время я совершенно ясно увидел — губы моего «акына» пришли в еле заметное, беззвучное движение. Высвеченные огнем продолжавшего полыхать костра, они показались мне золотыми в те минуты, просто бесценными, я не сводил с них глаз.

Хозяева же, насмотревшись на нас вдосталь, наудивлявшись ночным пришельцам, вскоре отошли от костра, принялись за свои дела, желая тем самым подчеркнуть — словам нашим не поверили. Я с терпеливой надеждой продолжал посматривать на Эрко, на шепчущие губы его. Он с закрытыми глазами, тихо раскачиваясь у огня, то беззвучно бормотал что-то, то останавливался. Уж не засыпает ли? — испугался я. — До стихов ли ему после такого денька?

Но «акыну» было, оказывается, «до стихов». В какое-то мгновение он вдруг поднялся со своего места, попросил Марию Чульдумовну подойти к костру. Подошли все четверо, встали против нас. Эрко сказал:

— Я вот тут, Мария Чульдумовна, стих небольшой сочинил. Можно прочесть?

— Чего говоришь? — В узких глазах хозяйки сверкнуло недоумение. — Какой еще стих, ты что?

— Какой, не знаю, Мария Чульдумовна, не мне судить. Но сочинил. Прочесть можно? — повторил свой вопрос Эрко.

— Давай, — все еще не выходя из своего состояния, ответила хозяйка.

Эрко стал читать. Тихо, просто, без жестов, без модного «подвывания». Я много в своей жизни прочел стихов. Хороших, похуже, гениальных, всяких. Эти были прекрасными. Так мне по крайней мере тогда показалось. Про Марию Чульдумовну. Про подвиг ее воинский. Про орден. Про труд ее, уважения и славы достойный. Про мужа Шойдана и внуков-гигантов. Про нелегкую жизнь в горах и снегах. И все как было и есть, все непридуманное, даже имена всех четверых были названы, начиная со сложного отчества приютившей нас женщины.

Когда Эрко закончил, я посмотрел на пастухов. Они стали вдруг совершенно иными, словно оттаяли. Огонь, полыхавший меж ними и нами, сделался совершенно прозрачным, сквозь него хорошо были видны их лица — из суровых, замкнутых превратившиеся в добрые, пожалуй, даже чуть улыбочивые. И не пожалуй — именно улыбка привела в движение смуглые, иссеченные ветром щеки и скулы. Особенно у Марии Чульдумовны — ее невозможно было узнать. Даже

незаметная слеза набежала. Быстрым движением смахнув ее, она попросила:

— Читай еще.

— То же самое? — спросил Эрко.

— Да. Только не быстро. Куда так торопишься?

— Я совсем медленно читал, Мария Чульдумовна.

— Читай, пожалуйста. Еще тише, пожалуйста, ладно? Непривычные мы к этому.

Эрко покорно принялся читать снова. Неторопко читал, чуть ли не по слогам выговаривая каждое слово. И все поглядывал то на Марию Чульдумовну, то на Шойдана, то на внуков. Когда закончил, захотел, по-моему, спросить Марию Чульдумовну: понравилось ли? Но вопроса задать не успел. Опередив его, она сказала:

— Читай еще один раз, а?

Эрко смутился:

— Нет, Мария Чульдумовна, больше не буду, боюсь надоест. А если вам хоть немного пришлось по душе, как воротимся домой, отдам в газету и потом вам пришлю. На память, хотите?

Мария Чульдумовна замахала руками:

— В какую газету! Ты что? У нас в горах все друг дружку знают. Будут потом пальцем показывать. Не-ет, не пойдет это! Тебя как звать-то, писатель?

— Эрко.

— Ну вот что, Эрко. Сейчас поздно уже, а утром богатыри мои съдут чистой бумаги — ты спиши нам стишок-то, спишешь? Только не забудь, смотри, до утра еще далеко.

— Не забуду, Мария Чульдумовна. Я стихи свои наизусть помню.

— Верно он говорит?

Вопрос был обращен ко мне. Я подтвердил, что память у Эрко хорошая.

Мария Чульдумовна, отложив свою трубку, повесила над огнем чугунок для того, чтобы вскипятить свежего чаю, опять загремела посудой в своем закутке, мужчины подсели к нам поближе.

— Куда все же дорогу держите? — спросил Шойдан.

— В Облепиховый лес хотели попасть, да вьюга нас закружила, — ответил Эрко.

Муж Марии Чульдумовны понимающе закивал головой.

— В Облепиховый? Отседа совсем рукой подать. Верст десять, не больше. Но уж больно вьюжно там, больно вьюжно. Там и раньше-то дуло днем и ночью, а после того как Дикий камень сорвался, совсем невмоготу стало.

— Про Дикий камень давно разговоры шли. Значит, упал все-таки? — удивился Эрко. — Давно?

— Давешним летом, во время грозы. Теперь ветер там как на цепи по кругу ходит. С ног сшибает.

— И все же хочу приезжему человеку, — Эрко дотронулся до моего плеча, — показать Облепиховый лес. Место историческое. А он солдат.

— Тогда, конечно, — согласился пастух. — Завтра орлы мои вас проводят. Так, что ли?

Оба парня согласно кивнули.

— Думаю, порядок будет. С такими никакая вьюга не страшна. Но ежели попасть вам в Облепиховый и засветло домой воротиться, встать пораньше придется. Согласные?

— Только засветло, папаша, только засветло! — затараторил вдруг Эрко, вспомнивший, конечно, как беспокоится Оля.

— Тогда — на бок. Время позднее, всем выспаться надо, — решительно заявил глава семейства. — Мать, тащи шкуры. Что-то обратно вон завывает.

Мы инстинктивно глянули в круглое отверстие над костром и увидели, как, подсвечиваемая его пламенем над самой нашей головой, заваривалась густая каша из ветра, дыма и снега.

V

Сон, помню, скрутил меня сразу же, почти мгновенно. Но так же хорошо помню и другое. Где-то среди ночи услышал, как меховая полость, закрывавшая вход в жилие, затрепетала, захлопала. Приподнявшись на локтях, я увидел, как Шойдан вскочил и, покрякивая, покатил к полости опоясанную обручами кадушку, судя по всему, очень тяжелую. Я сбросил с себя мохнатую шкуру, но пастух остановил меня:

— Справлюсь.

Ловко придавив краем кадушки нижнюю часть полости, он подбросил дров в костер. В юрте стало светло как днем.

— А где же народ? — спросил я, не обнаружив внуков Шойдана.

— Какой тебе народ? Вон Чульдумовна, вон Эрко храпака дает, вот ты да я да мы с тобой.

— А молодые?

Он ухмыльнулся полусонно:

— Молодым не спится на месте. К соседям ушли. Скоро явятся. Тут недалече.

— К каким соседям? — удивился я.

— Ты лыжи сломал? Сломал. И Эрко твой. На чем домой топать будете? Вот за лыжами и отправились. Отоспятся завтра.

— Да вы что, папаша? — воскликнул я. — Мы бы так, как-нибудь...

— Папаша, папаша, — незло передразнил меня Шойдан. — В горах «как-нибудь» не бывает. С горами не шути.

Он помолчал и добавил:

— А еще они должны до Облепихового леса дорогу проторить. В ночь кругом обвалы пошли. Слышал, небось?

Я сказал, что ничего такого не слышал.

Он повторил:

— Пошли. Но ты не бойсь, все будет, как надо.

— Уверен,— соврал почему-то я.

— Ну тогда давай соснем малость.

Он лег, натянул на себя шкуру, но спать не стал — через несколько минут я увидел на войлочной стенке юрты, как на экране, отраженную огнем руку пастуха, снова подбрасывавшую поленья в костер. Фокусное расстояние от костра до стенки было таким, что рука казалась огромной. Такими же были и поленья... А может, я уже сон видел в те минуты?

Я не слышал, как воротились «от соседей» внуки Шойдана, как проснулась и закурила трубку Мария Чульдумовна. Тень от трубки была длинной — во всю стенку юрты — это я, пожалуй, уже наяву видел. Точно, наяву — даже горьковатый дымок табака защекотал горло. Вид у Марии Чульдумовны и у ее домочадцев был невеселый, расстроенный.

— Лыж не достали? — спросил я, но догадка вышла неверной.

— Достали,— успокоил меня один из парней.— С лыжами как раз порядок полный. Самоходы!

— Не успели до Облепихового дойти? Да?

И тут интуиция подвела меня.

— Успели, как не успеть? — услышал я в ответ.— Час туда, час обратно.

— Что же случилось тогда? Чего вы все приуныли? Устали здорово, намучились из-за нас? Сколько мы вам хлопот принесли! Не знаю, чем и как отблагодарить вас...

Мою тираду строго остановила Мария Чульдумовна:

— Стих у вас хороший, а мысли плохие. В Облепиховом лесу все дело. Дорога к нему закрыта.

— Как закрыта? Почему? Внуки ж оттуда только вернулись, так? — спросил я.

— Все так,— сказала хозяйка.— А для вас пути нет: под обвалом Облепиховый. Они до самого верху дошли. Над горой вторая гора висит — из снега. Ясно?

— Вторая гора,— подтвердил один из внуков.— С часу на час поползет. Нельзя вам туда.

— Что делать будем? — растерянно спросил я Эрко.

За него ответила Мария Чульдумовна:

— Все будем делать, что положено. Завтракать будем. Эрко будет стих списывать — бумага приготовленная. Потом соберем вас в обратный путь.

Я посмотрел на Эрко. Он объяснил, что план у Марии Чульду-

мовны, к сожалению, правильный. Если к Облепиховому никак не пройти, стало быть, надо освоиться собираться. Ну, а перед тем как двинуться, заправиться, само собой, просто необходимо.

— Жаль,— сказал я.— Очень жаль, что не сможем бывать в том лесу. Распалил мое любопытство, а теперь на попятную?

Эрко признался, что он во всем виноват. Проводником был никудышным, много верст вчера лишних дали, но дело, в общем-то, поправимое, никуда он от нас не денется, этот Облепиховый лес.

— Приезжай к нам летом или, еще лучше, под осень — полный порядок будет. А сейчас давай завтракать — нас уже ждут, смотри.

Мы сели к полыхавшему во всю силу огню.

— Все как вчера будет, учти,— сказал Эрко.— Сперва чай, потом бараний суп, потом снова чай.

Так или, вернее, почти так все и было. Почти, потому что в самый разгар трапезы появилась на горизонте запеченная голова барашка и в дыму поплыла сразу ко мне. Фикуса рядом не оказалось. Но я вдруг поймал себя на мысли о том, что начал помаленьку привыкать к местным обычаям и порядкам, входил постепенно во вкус.

Когда завтрак был закончен, а стихи Эрко «списаны» на лист белейшей, неизвестно откуда взявшейся тут бумаги, началась примерка лыж. Это последнее действие продолжалось недолго — крепления «самоходов» так ловко устроены, что подогнать их под любую ногу — дело минут.

Мне стало даже чуть грустно оттого, что все так быстро шло к финишу. Поворачивался не спеша, еле-еле. Эрко же, с учетом вчерашнего опыта, обеспокоенно поторапливал:

— Не выпался, да? Ничего, сегодня всласть отоспимся!

Заметив, что даже заманчивая перспектива эта не прибавила мне «динамики», Эрко сказал:

— Им еще надо обратно вернуться, учти.

— Кому? — не понял я.

— Кому, кому! Богатырям, как ты их окрестил. Они ведь провожать нас пойдут до самого дома, увидишь.

— Ни в коем случае! — категорически запротестовал я.— Ни в коем! Что мы, дети малые?

— Я думаю, возражать бесполезно,— спокойно, но твердо ответил Эрко.— Поняли, какой из меня проводник, подстраховку устроят, уверен. Да и лыжи дали нам не свои, значит, возвратить должны, теперь понятно?

— Теперь да,— согласился я и стал двигаться проворнее.

Минут через двадцать мы, распрощавшись с Марией Чудьмовной и Шойданом, сопровождаемые эскортом из их внуков, двинулись в путь.

Братья шли впереди, мы за ними. Теперь передо мной целых три богатыря было. Лыжня после них доставалась моим «самоходам»

глубокая, укатанная. Метель, хоть уже не такая яростная, но все время набрасывалась на нас — то спереди, то сбоку, то сзади. Замести лыжню, однако, не поспевала и поспеть не могла. Мы шли ходко, уверенно, без задержек. Даже проламывались через кустистые заросли не с такими трудностями, как накануне. Привык, закалился, думал я про себя. А они вообще народ вон какой бывалый, опытный. Даже сплеховавший было вчера Эрко сегодня нравился, по-моему, не только мне, но и самому себе. Сквозь порывы ветра то и дело слышалось его бодрое:

— Жми на все педали!

Так бы вот идти нам и идти, так бы катить и катить. Но всему, как говорится, свой край приходит. Так и тут. Часа через два шедшие впереди вдруг остановились, да так резко, что мы с Эрко наскочили на них.

— Привал? — спросил я. — Привала устраивать не надо, мы не устали. Да и дорога под горку пошла.

— Надо, — сказал один из братьев. — Минут пять отдохнем и будем прощаться.

— Дальше не пойдете? Ну и правильно! — воскликнул я. — Тут уж мы не заблудимся в любую метель.

— Дальше он один вас поведет, — уточнил свою мысль один из пастухов и положил руку на плечо своего младшего брата. — Мне, однако, возвращаться пора. Старики там не управятся одни в такую погоду. Они под Белым камнем сейчас. Кошару латают. Вдвоем не сладить никак, там и четверых-то мало.

— Тогда возвращайтесь оба и немедленно! — Я решил взять инициативу в свои руки. — Слышите? Сию минуту!

— Командиром этого отряда дед меня назначил, — твердо, хотя и с улыбкой ответил старший из братьев. — Командовать буду я. Он вот проводит вас до самого дома. А это с собой возьмите, бабуля велела. — Он вручил мне и Эрко какие-то свертки, тщательно укутанные в тряпицы и перевязанные бечевой.

— Что это? — спросил я.

— Так, на память о лесе, в который попасть не смогли.

Я не вытерпел, тут же на ветру разорвал бечевку, выпростал из ста одежек бутылку темно-зеленого стекла, плотно закупоренную.

— Нет, нет! Спасибо, возьмите обратно, при ваших морозах вам скорее согдится... Мы непьющие, — попробовал было запротестовать я.

— Бери! — категорически перебил меня Эрко. — Масло это. Облепиховое. Понял? Ангиной теперь болеть никогда не будешь. Я беру. — Он решительно затолкал свой сверток за пазуху.

Мне пришлось подчиниться. Мы расстались с одним из братьев, крепко пожав друг другу руки.

А еще часа через два распрощались и со вторым — в низине показались первые, курившиеся дымком домики Кызыла, где нас ждали, где о нас волновались.

Вот и вся нехитрая эта история. Нехитрая, теперь уже давняя, но вспоминаю ее до сих пор. Во всех подробностях.

И все дышит горячим своим дыханием, полыхает передо мной тот костер в занесенной снегами юрте Марии Чульдумовны. И все видятся мне через трепещущее его пламя озаренные, словно вызолоченные, смугловатые, обожженные морозом и ветром лица пастухов и поэтов. Лица тех, с кем свела тогда судьба. Свела совсем ненадолго. С одними всего на несколько коротких дней, с другими и вовсе на несколько часов. Жаль, что пролетели, промчались те дни, те часы так быстро, так неостановимо...

Жаль...

СЕЛЕНОВАЯ ВАХТА

I

Перед самой войной я работал в лаборатории контрольно-измерительных приборов. Учреждение сие ютилось на далекой окраине Москвы в непригодном помещении, окна которого выходили на полупустырь-полусад, прозванный нами полупустыней.

Руководил лабораторией молодой, только что окончивший институт инженер Отар Давыдович Елигулашвили. По-разному сперва отнеслись в лаборатории к этому человеку. Дурачась, мы даже фамилию его пробовали переиначить на свой лад — «Ели, гуляли, пили», хотя к тому не имелось оснований. Просто характер начальство имело крутой, вспыльчивый, «резко континентальный». Это не всем нравилось. Утром одно скажет, вечером, по тому же самому поводу, — совсем другое. Впрочем, по утрам мы его первое время не часто видели, все больше под вечер появлялся. Правда, мысли в горячую голову кавказца приходили светлые. За это многое ему прощалось.

Лаборатории было поручено заниматься созданием опытных образцов фотоэлементов. Отсюда, из «полупустыни», начинали зоркие приборы свой путь в другие лаборатории.

Все, даже не по годам ссутулившийся, близорукий новичок Олег Мазурин, который все бесконечно путал. Глаза парня за толстыми, вечно непротертыми стеклами очков казались одновременно и бездонными и беспомощными.

В минуты хорошего настроения Елигулашвили принимался рассказывать нам о фотоэлементах, об их удивительных свойствах. Особенно сильное впечатление произвели на нас слова инженера о том, что глаз фотоэлемента в состоянии следить за небом, за любым источником света.

Молодые, увлеченные, мы не могли не восторгаться научным прогрессом. Вот это глазки, думали мы, не то что у нашего Мазурика.

А иногда и вслух кое у кого срывались такие шуточки. Олег не обижался, только сконфуженная улыбка блуждала по его бледным впалым щекам, а взгляд у парня становился совсем растерянным.

Елигулашвили скоро понял, какого нескладухе взял в лабораторию, но времени заняться новым кадром как следует у начальника не находилось. Нам оставалось самим по десять раз все проверять и перепроверять за Мазуриным, а то и заново переделывать. Шли мы на это безропотно — что-то было в новичке симпатичное, и, конечно, обезоруживала его наивность.

— Бичико! — в сердцах воскликнул как-то Елигулашвили, наблюдая за Олегом, и тяжело вздохнул.

Грузинского слова этого, как и многих других грузинских слов, мы тогда еще не знали, только догадывались о его значении.

— Держите, ребята, ухо остро! — советовал нам старик Рапохин, мастер по ртутным насосам ленгмюра. — Мы с Мазуриком этим горя еще хлебнем. Хлебнем, хлебнем! — Он даже крестился, хотя в бога не верил.

У Рапохина была вредная работа; он получал двойную порцию молока, дополнительный отпуск, имел короткий, строго отмеренный день. Выскажется вот так, задачи свои «справит» — и свободен. Мы же остаемся, вкальваем дальше. А дело деликатное, тонкое. Вакуум, ртуть, кислоты, стекло. Сотни стеклянных кранов и труб, сваренных в хитроумные узлы. Чуть не так повернулся — авария, да еще какая! С извержением ядовитых паров кипящей ртути и прочими «прелестями».

Решено было за Мазуриным присматривать, без призора не оставлять ни на минуту. Только за бечевочкой разве углядишь? (Так на свой манер перевели мы с грузинского непонятное слово.) Вьется бечевочка, из рук ускользает...

Лаборатория между тем вступала в один из самых ответственных периодов своей жизни. Начиналось производство серии цезиевых фотоэлементов новой конструкции. Чувствительной сердцевинкой такого прибора была железная бляшка, на которую под вакуумом наносился сперва слой цезия, потом слой золота. Делалось это методом катодного напыления: над бляшкой на специальном кронштейне подвешивали за четыре угла толстую золотую пластину, и когда вакуум достигал достаточно высокого уровня, включалась электросистема. Мельчайшие частицы золота под воздействием тока отделялись от золотой пластины и летели на цезиевое покрытие железной бляшки — от анода к катоду. Получаемый в результате этих манипуляций «слоеный пирог» — так окрестили мы новый фотоэлемент — был особо чувствителен. Он видел даже далекие звезды.

Золотая пластина была величиной с пачку «Казбека» и представляла собой, конечно, огромную ценность. Елигулашвили получил ее с большим трудом и то ненадолго. Рассказал нам, как ему удалось

где-то «там» (он поднял вверх палец, обросший до самого ногтя густой черной шерстью) доказать, что расход золота будет настолько незначительным, что пластина практически не изменится в весе. Первые дни начальник после каждого сеанса катодного пыления сам взвешивал пластину, и мы поражались: она действительно легче не становилась! Золото полагалось по окончании работы тщательно промыть дистиллированной водой, затем высушить в муфельной печи. Мы добросовестно соблюдали все эти правила. Затем драгоценность убиралась в сейф до следующего раза.

Работа постепенно налаживалась. Елигулашвили все больше загорался ответственным делом и увлекал подчиненных. Уж очень хорошо объяснил, какую роль будут играть фотоэлементы в самом ближайшем будущем.

Вскоре инженер стал проводить в лаборатории почти целые дни, а если вдруг и соберется отлучиться куда-нибудь, к каждому подойдет, в том числе и к Мазурину, каждому словечко молвит — так, мол, и так делай. Мазурин даже начал распрямлять свою сутулую спину. Ему был поручен ряд новых обязанностей, в число которых входила и операция по промывке и сушке золота. Через какое-то время парень научился делать это неплохо. Правда, прежде чем доверить Олегу сокровище, инженер долго инструктировал:

— Вот так, смотри сюда. Только так, дорогой. И не торопиться, дорогой. А уж если торопиться, то только медленно, совсем медленно. Ты все понял, дорогой?

Олег утвердительно наклонял голову, тяжелые очки его сползали на самый кончик веснушчатого носа. Отар Давыдович сокрушенно восклицал:

— Слишком быстро понял! Значит, не понял, дорогой. Я же сказал, не спеши, дорогой. Давай все сначала, бичико!

И все действительно начиналось сызнова. В десятый раз, в двадцатый...

Мы все, хоть и «медленно», но поторапливались: надвигались майские праздники, решено было встретить их как положено. Собраний и митингов не устраивали. Смешно было митинговать, когда народу раз, два — и обчелся. Елигулашвили, Рапохин, Мазурин, я, еще два-три человека. Вот и весь наш могучий коллектив. Да и еще, конечно, Клавуня. Зеленоглазая девушка, помощник лаборанта. Кроткое, доброе, обворожительное существо, питавшее почему-то особые чувства к Мазурину. Если принесет (а принесет обязательно!) чего-нибудь вкусного из дома, первым делом Олега угостит, а потом уж других. Я это точно установил. Если придет Клавуне посылка от родителей из астраханской деревни, самая крупная (с икрой!) вобла непременно Олегу достанется. Впрочем, все это могло мне и померещиться. Не скрою, мне нравилась Клавуня. И не мне одному. Глядели на нее, не могли наглядеться. На глаза ее с яркой прозеленью —

огромные, быстрые. На синее, всегда одно и то же ситцевое платье, свежестыранное, просвечивавшее синевой сквозь белый халат, на разбросанные по узким плечикам поблескивавшие локоны. А она никого из нас, кроме Олега, почему-то не замечала. Это я тоже усек, и не без горечи. Только на него посматривала, и то тайком. И что она находила в этом Мазурине? Жалела? Инстинктивно, по-женски вставала на защиту слабого? Все может быть...

Работала Клавуня не хуже других. Может быть, даже лучше. Во всяком случае, поданную Отаром Давыдовичем идею встать на предмайскую вахту поддержала, хотя и призналась честно, что значения этого слова полностью не понимает. Елигулашвили объяснил ей очень хорошо и очень убедительно:

— Вахта — это когда к празднику обещают выпустить первые цезиевые фотоэлементы и выпускают! Теперь понятно, дорогая?

Тихая улыбка скользнула по розовым щекам Клавуни:

— Теперь все очень-очень понятно, Отар Давыдович!

— Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно! — обведя подчиненных довольным взглядом, заявил инженер и сказал, что деваться нам теперь некуда.

А мы и не собирались никуда «деваться». Стали засиживаться в лаборатории до глубокой ночи. Даже Рапохин забыл о своих льготах и привилегиях.

— У вас же вредный участок, папаша! — пробовал урезонить старика Отар. — Вы же ртутью насквозь пропитались, дорогой...

Рапохин огрызался, продолжал хлопотать вокруг своих капризных насосов ленгмюра, которые благодаря стараниям мастера еще ни разу не дали осечки.

— А начальству грубить полагается, дорогой? — спрашивал Отар.

— А учить старых людей? — парировал Рапохин.

Перебранка их, как ни странно, делу не была помехой. Уже через неделю вахты все мы валились с ног, и если бы не шутка, не озорное словцо, неизвестно, на чем бы держались. Лучше всех понимал это, кажется, Отар. То здесь, то там сквозь шум работающих на полную мощь моторов слышался подбадривающий голос южанина.

— Кто же так делает, дорогой? У тебя образование какое, дорогой? — спросит лаборанта, заметив какую-нибудь оплошность в работе.

— Среднее техническое, — прозвучит смущенно в ответ. — Вы ж меня на работу брали...

— Брал, что верно, то верно, но у тебя, оказывается, мания величия, дорогой. В дальнейшем в анкетах пиши — незаконченное низшее, — точнее будет. Вот так, так и так надо делать, дорогой.

Нет, мы положительно не узнавали своего начальства. Если раньше не могли дожидаться, когда оно куда-нибудь закатится, то теперь с нетерпением ждали его появления в лаборатории.

Одним словом, все шло вполне прилично, твердо и уверенно шагала вперед наша вахта. Победа, казалось, недалека, подоспеет как раз к празднику, а то и чуть раньше. На это тоже надежд не теряли. Но жизнь есть жизнь, особенно у тех, кто вступает в нее с «незаконченным низшим».

Примерно за две недели до Первой грянула беда. Часов в восемь вечера Отару все-таки удалось отправить домой Рапохина, а через каких-нибудь пять минут, в самый разгар сеанса катодного пыления, из вакуумной донесся громкий испуганный крик Мазурина:

— Главный лентмюр лопнул, ребята!.. Главный лентмюр... Тревога!..

На этот вопль в вакуумную в распахнувшемся, как крылья, халате влетел Елигулашвили. Увидев целое море горячей ртуть, расплескавшейся по всему полу, инженер загрохотал еще громче Олега:

— Раскрыть все окна! И все вон, вон, вон отсюда! И вернуть Рапохина! Немедленно, сию минуту! Мазурин, ты что разинул рот, как...

Последних слов начальника Олег, к счастью, не слышал: с не свойственной ему стремительностью он уже мчался по пустырю в направлении к трамвайной остановке.

Догнать мастера ему, однако, не удалось. Через четверть часа, запыхавшийся, виноватый, стоял он перед Елигулашвили.

— И телефона до сих пор не провели? — тихо спросил инженер, хотя прекрасно знал, что Рапохину в телефоне отказано.

— Не провели, Отар Давыдович,— ответил Мазурин таким тоном, словно в этом был персонально виновен.— И живет на краю света. Полтора часа на двойке в один конец. И адреса у нас нет...

— Кретин!..— хлопнув себя по лбу, застонал Елигулашвили.

— А Мазурин-то тут при чем, Отар Давыдович? — попробовал кто-то из нас вступить за Олега.

— Я кретин. Я, я, я!..— вежливо пояснил свою мысль инженер. Помолчал и добавил: — Полнейший кретин! Встретили майские празднички...

— До праздников есть еще время, Отар Давыдович,— попытался я успокоить начальника.

— Помолчи, дорогой,— ответил инженер.— В горах говорят: когда люди молчат, больше думают.

Каждый человек, включая Мазурина, понимал, насколько серьезна авария, какие влечет за собой последствия. Сорван важнейший цикл работы, загублен многодневный, изнурительный труд. Все придется начинать сызнова. Но прежде всего нужно отремонтировать насос лентмюра, дорогостоящий, хрупкий, дефицитный по тем временам агрегат.

В ту ночь никто не ушел из лаборатории. Приказа такого не было. Елигулашвили даже сделал вид, будто собирается домой; проверив,

достаточно ли плотно закрыта дверь в вакуумную с разлившейся ртутью, он, высоко закатав рукава, обстоятельно, молча мыл руки с мылом и щеткой, но никого из нас это не ввело в заблуждение. Мы все равно поняли: никуда Отар сегодня не уйдет. Так и вышло. В полном противоречии с логикой он, закатав рукава еще выше, принялся за самую черную работу, какая только может быть в лаборатории. Такого никогда еще не случалось, и первые несколько минут, пока мы не пришли в себя, Елигулашвили сам таскал в аккумуляторную тяжелые батареи, сам ставил их на подзарядку. На лбу его надулись толстые синие жилы, халат из белоснежно-белого сразу сделался полосатым. Мы скумекали: начальнику надо было во что бы то ни стало отвести душу, хоть как-нибудь успокоиться.

Честно сказать, мы все испытывали такую необходимость.

И вот незаметно, исподволь, в лаборатории, несмотря на позднее время, вновь закипела работа. Делали мы хоть и не главное свое дело, не фотоэлементы, но делали хорошо, добросовестно, может быть, так хорошо и так добросовестно, как никогда раньше. Приводился в порядок инструмент, доливался электролит в аккумуляторы, чистились моторы и шкивы. Работали сперва молча, сосредоточенно, потом опять же, чтоб отвести душу, и с шуткой, со смешком, а то и с руганью, но не слишком соленой,— Клавуня тоже никуда не ушла от нас в ту ночь. К тому же окна лаборатории были широко распахнуты, и нам хорошо слышно было, как во тьме по пустырю с хихиканьем, с песней бродили парочки. Не знаю, не помню, завидовали ли мы им в те часы и минуты. Может быть, да, а может, и нет. Пришло упоение работой. Много лет спустя я понял: по-настоящему счастлив тот человек, кому знакомо это чувство.

Где-то далеко за полночь Отар подошел к своему столику, на котором весенний ветер шевелил страничками календаря, прищелкнул языком, нарочито спокойно спросил:

— Какое сегодня число, кто скажет?

— Четырнадцатое, Отар Давыдович,— устало отозвался кто-то.

— В смысле пятнадцатое,— тоже устало поправил Елигулашвили.— Вопрос второй: какой день наступил?

— Выходит, воскресный, Отар Давыдович...— робко подал голос Олег.

— Ответ правильный. Вопрос третий и последний: что мы делаем, дорогой? — Елигулашвили взглянул на Мазурина. Хотел, чтоб ответил именно он.

— Воскресник проводим, Отар Давыдович! — неожиданно нашелся тот и вдруг покраснел.

— Ответ совсем правильный, дорогой! Ты голова, бичико, государственно мыслящая личность!

Олег покраснел еще больше, начальник подбодрил его:

— Я серьезно, дорогой! Спасибо, дорогой! Всем спасибо! Премии

дать не могу — план сорван. Но благодарность за воскресник выношу. Тебе, кацо, тебе и тебе. И тебе тоже, чуть не забыл! — Отар легонько провел по сверкавшим локонам Клавуни.— Неплохой у нас коллектив, оказывается, а? А с этим проклятым ленгмюром завтра что-нибудь придумаем, черт его подери!

— Но он лопнул совсем, Отар Давыдович,— хрипло прошептал Мазурин.— На куски разлетелся...

— Как это на куски? Такого не бывает, дорогой. Мы приваривали его по всем правилам — не под натяжением, очко к очку, и стекло не засалилось, схватилось намертво, вот так! — Елигулашвили выразительно сплел перед Олегом свои пальцы.— Понял, дорогой?

Вместо ответа Мазурин повернул ладонями вверх обожженные, кровоточащие руки.

— Ты что делал там, дорогой?.. Ты с ума сошел, дорогой?! — Лицо Отара исказилось, а в любимом словечке «дорогой» нервно прозвенела никому из нас до сих пор не знакомая нота.

— Это я расколочил ленгмюр, Отар Давыдович,— сказал Олег со спокойствием обреченного.— Стал пыль протирать и задел локтем. Он сперва треснул в горловине, я попробовал соединить, и вот...

Инженер, поблбднув, молча шагнул к вакуумной, мощным косым плечом сильно прижал ее и без того плотно закрытую дверь. Потом, достав из холодильника целую батарею запотевших бутылок с молоком и усадив перед ними Олега, голосом очень уставшего человека сказал:

— Пей, дорогой. Бывает...

И заставил Мазурина выпить три бутылки подряд — залпом, прима из горлышка. И все объяснял:

— При отравлении ртутью — самое первое средство. Как себя чувствуешь, дорогой?

Олег послушно пил, уверяя, будто все у него нормально, только стыдно за то, что так подвел всех и сорвал вахту.

— Что поделаешь, дорогой! — Инженер старался как мог успокоить Мазурина, заодно и всех нас.— Утро вечера мудреней. Завтра что-нибудь обязательно сообразим.

Ночь между тем прошла тревожно. Оттого что устали, перенервничали, уснуть не удалось никому. До самого рассвета скрипели распозавшиеся под нами в разные стороны стулья и табуретки.

Когда рассвело, Елигулашвили, который в армии еще не служил, подал почему-то команду на армейский манер:

— Кончай ночевать, выходи строиться!

И действительно выстроил нас, поглядел в опухшие наши лица, прошелся раза два перед нами, остановился возле Мазурина.

— Как дела, дорогой? Надышался ртутью, даже бледный стал. Вот выпутаемся из этой истории, на Кавказ тебя отправлю, в горы, к деду моему, дорогой. Сразу станешь здоровее здоровых!

Грустная, недоверчивая улыбка едва заметно шевельнула пересохшие губы Олега: если начальник шутит, стало быть, нашел выход из положения.

Но Елигулашвили ни до чего путного додуматься, оказалось, пока не сумел. Да и как суметь? Насосы ленгмюра умеют варить считанные мастера, и они все нарасхват. Разбитый починить тоже некому, да и не поможет ему уже никакая починка: когда наконец пришла пора отворить дверь в вакуумную, убедились в том воочию — весь пол был забрызган мелкими склянками, плававшими в лужах ртути, теперь уже, слава богу, не кипящей.

— Прежде всего соберем все это,— распорядился Отар.— И чем скорее, тем лучше!

Никого поторапливать не пришлось. Мы знали, что холодная ртуть хоть и менее вредна, чем горячая, но шутки с ней все равно плохи.

Словом, не успел закончиться один воскресник — другой начался.

Ртуть остыла, а работа опять закипела. Но ртуть есть ртуть. Стремительно бежала по полу от наших совков, мельчилась в бесконечные, верткие, ускользавшие дробины, которые, как от выстрела, глубоко врезались в паркет, в каждую его расщелинку. Мы ползали на четвереньках уже больше двух часов, но так и не собрали всей ртути — много ее, конечно, под пол ушло. Отковырнули досочку-другую: так и есть!

Вооружившись стамесками, зубилами, долотами, чем попало, мы стали вспарывать паркет. Проклинали хозяйственника Росинского, который еще месяц назад обещал раздобыть линолеум, как того требовала техника безопасности. Обещал, а сам укатил в командировку — «выколачивать» где-то менделеевскую замазку, запасы которой подходили к концу и без коей в нашем деле тоже не обойдешься.

К концу третьего часа сил уже не было ни у кого. Выбились из последних. Но накрепко вцепившиеся друг в друга паркетины все-таки подчинялись еще нашим ослабевшим рукам. В конце концов мы перепачкали весь пол, собрали все до единой ртутины.

— Половина задачи — это уже кое-что! — хриплым голосом сказал Елигулашвили.

Никакой «половиной», конечно, еще и не пахло. Мы прекрасно поняли, зачем начальнику понадобились эти слова. Настроение нам захотел снова поднять. А может, и себе заодно? Точно! И себе самому. Начальник, он тоже не железный. Голова у него, небось, больше всех болит. Мало ликвидировать последствия аварии, надо вперед глядеть, в завтрашний день.

— Отар Давыдович, выпейте,— кто-то из нас протянул инженеру бутылку молока.

Мы думали, откажется гордый кавказец. Ничего подобного — пил, как миленький, тоже прямо из горлышка. И руки дрожали, и слышно было, как дробно стучало стекло, соприкасаясь с зубами.

Когда утро уже было в полном разгаре, входная дверь резко скрипнула, широко распахнулась, на пороге лаборатории неожиданно-негаданно появился празднично одетый, в мягкой фетровой шляпе, при галстуке Рапохин. Таким мы еще никогда не видели старика. Он был даже, как нам показалось, несколько навеселе. Впрочем, мастер и не пробовал скрыть этого — вошел, задумчиво мурлыкая что-то невнятное, остановил веселый взгляд на удивленном начальнике и сказал:

— А у тебя, батенька, молочко на губах не обсохло. Да, да, да... Это была, может быть, месть за вчерашнее, за то, как бесцеремонно выдворил старика Отар Давыдович отдыхать, когда все, вплоть до Клавуни, были еще на посту. Елигулашвили готов был принять эту месть безропотно — так обрадовался появлению мастера.

Рапохин, не дожидаясь расспросов, объяснил свой неурочный визит в лабораторию:

— Вчерась дружки наведались. Посидели хорошо. Сегодня ни свет ни заря провожать их отправился. По дороге пивка свеженького приняли. На обратном пути, гляжу, у вас тут все окна настезь. Что такое, думаю? Дай, думаю, загляну, проверю, все ли в родном коллективе в порядке.

Рапохин снял шляпу, полустрого-полулукаво смерил взглядом инженера.

— Докладай, товарищ начальник, чего наработали за ночь?

— Дай сначала обнять тебя, дорогой! — Елигулашвили шагнул навстречу Рапохину.

Старик увернулся:

— Да ты что, товарищ начальник? То уходи, Рапохин, прежде всех, то обниматься? Не пойму я тебя, видно, впрямь староват стал. Уж не наломал ли дровишек без Рапохина?

— Наломал, дорогой... И еще каких дровишек! — Инженер все-таки взял старика за плечи, повернул его лицом к двери, распахнутой туда, где были «наломаны дрова». — Полюбуйся. Что будем делать, дорогой? Твой совет нужен.

Рапохин рванулся в вакуумную.

Все замерли. Слышно было только, как, спотыкаясь о разбросанные паркетины, ходит старый из конца в конец разоренных своих владений. Через несколько минут вышел к нам сразу протрезвевший и злой. Больше всего был зол на начальника:

— Чувствовало мое сердце, именно ночью стрясется чего-нибудь. Так и вышло. А теперь совета спрашиваешь? Тебе ведь не совет нужен — я тебя насквозь вижу. Подсобить нужно. Так и скажи. Ну, скажи, скажи!

— Подсоби, дорогой, если можешь...

Рапохин прервал его:

— Ладно. Я ведь не злопамятный, — и решительно направился в вакуумную.

Мы двинулись было за стариком. Он остановил нас сердито:

— А помощников не требуется. Ежели справлюсь, то справлюсь и сам, ежели провалюсь — туда мне и дорога.

Дверь перед нами захлопнулась, и мы услышали, как дважды повернулся в замочной скважине ключ. А еще через несколько минут до нас донесся характерный звук вспыхнувшего газа в горелке.

Мы не знали, что задумал старик. Не новый же ленгмюр будет варить? В принципе все мы были чуть-чуть стеклодувами — такая уж лаборатория. Сами когда надо, паяли, перепайвали, сваривали и гнули стекло, сами чинили и перечинивали вакуумную установку, но наиболее сложные стеклодувные работы доверялись только одному специалисту — Кошкину, который приезжал из Гусь-Хрустального раз в месяц, и тогда гонялась за ним вся Москва. Впрочем, от Рапохина всего можно было ожидать. Кто-то вдруг вспомнил, что Рапохин с Кошкиным давние дружки-приятели, кто-то опроверг это. Кто-то сказал, будто иной раз и «сам Кошкин» обращается к Рапохину за подмогой. Я заметил, что никакой «сам Кошкин» никогда не взялся бы за изготовление ленгмюра в заводских условиях.

Так мы спорили, гадали, судили-рядили, а пламя газовой горелки между тем бушевало в вакуумной все сильнее и сильнее.

Раза два или три Елигулашвили припадал к замочной скважине, но видел в нее якобы только спину старика, согнувшегося над горелкой. Раза два или три пытался докричаться до Рапохина, но делал это по-детски смешно — кричал вроде бы и настойчиво, чтоб старик услышал, и в то же время не слишком громко, чтоб не помешать, не потревожить. Все знали, как не любит старик, когда ему говорят «под руку». Он бывал грозен в такие минуты, даже сам Елигулашвили его побаивался.

Не помню точно, как долго томились мы под дверью вакуумной комнаты. Бесконечно долго. Но помню другое, отлично помню, как шум горящего газа постепенно стал слабеть, к его шипящему звуку начал примешиваться другой — тихий звук старинного русского ромаса... Рапохин любил ромасы, но почему-то всегда стеснялся этого. Сегодня стесняться не хотел: был хозяином положения и решил «позволить» себе не таить больше своей слабости. Когда мы это поняли, повеселело у каждого на душе, полегчало.

Мурлыканье старика то усиливалось, то ослабевало, то переходило в мычание. Мы догадались: Рапохин зажал в зубах стеклянный мундштук — точно так, как это делал в свое время Кошкин, когда чинил лопнувшую в каком-нибудь ответственном узле вакуумную установку. Оплавит края, внесет в образовавшийся проран частицу расплавленного стекла, залатает отверстие и начинает поддувать изнутри, чтоб свариваемое место, пульсируя, выравнивалось. Так стекло со стеклом соединяется без «шва», намертво, остается чистым, светлым. «Как стеклышко!» — сдавая свою работу, любил говорить

Кошкин. Это не было хвастовством — в словах мастера звучало совсем другое. Казалось, стеклодув всякий раз сам удивлялся, как это он, такой маленький, «собранный по частям» человечек, росточком с Мазурина, а то и с Клавуно, может своими крохотными дрожащими ручками возродить из стекла целые замки.

Елигулашвили как-то рассказал нам, что несколько лет назад Кошкина сбила машина, когда он возвращался ночью с работы. Сбила и уехала, а он, истекавший кровью, пролежал на мостовой до утра. Потом «свинчивали» его по частям у Склифосовского и свинтили, оставив на всем теле множество швов. Кошкин будто бы ворчал по этому поводу: «Топорная работенка! У нас бы на заводе за такую — на черную доску. Руки до сих пор дрожат, как у алкаша, а я ведь не пил отродясь».

Всю эту историю мы вспоминали тем воскресным днем. И многие другие истории — были и небыли, а Рапохин все работал и работал. Елигулашвили все чаще поглядывал на свои часики, когда же кто-то спросил его, сколько «накачало», еще раз поднес знаменитый «ланжин» свой к самым глазам, хотя близорукостью не страдал, а на вопрос так и не ответил. Волновался. Это даже не то слово.

Где-то к концу дня, когда длинные ножницы солнечных лучей выстригли последнее темное пятнышко в дальнем углу лаборатории, в вакуумной неожиданной все стихло, дверь ее скрипнула. На пороге стоял, взявшись за косяк, Рапохин. Вид у старика был измученный, но у него все-таки хватило сил дверь за собой снова плотно закрыть.

— Извиняюсь, что так долго, но дело сурьезное и вроде бы сотворил, — сказал он сдавленным голосом и, пошатываясь, направился к распахнутому окну лаборатории, за которым опять мы услышали чей-то безмятежный счастливый смех, чью-то озорную задорную песенку.

Нам, конечно же, не терпелось глянуть, что и как «сотворил» Рапохин, но он грозно заступил нам дорогу:

— Отставить! Там ртуть еще облаками ходит.

Только в замочную скважину было дозволено поглядеть. Первым приник к ней опять начальник.

— Неужели?! Рапохин, дорогой!.. — не оборачиваясь, прошептал инженер, — неужели?.. Это же чудо, дорогой! Настоящий ленгмюр?!

— А ты что же думал? — буркнул Рапохин. — Сам агитацию всякую разводил, а теперь удивляешься?

Мы кинулись к скважине — каждому не терпелось увидеть содеянное стариком чудо. И мы увидели.

Отгалкивая друг друга, мы обалдело пялили глаза на заново рожденный насос ленгмюра. Уже заполненный ртутью, приваренный к установке, он напоминал серебряный корабль, взмывший на высокой волне бесчисленных стеклянных труб, кранов, баллонов всех размеров и конфигураций. Через узкую щель ленгмюр казался просто

красавцем. Он красавцем и был. В том мог поручиться, пожалуй, даже Мазурин, который в толкотне тоже ухитрился поймать в фокус засаленных своих окуляров созданный Рапохиным насос.

Елигулашвили был потрясен:

— Как так, дорогой? Как ты смог, дорогой? И работает?!

— И работает, дорогой! — в тон начальству ответил Рапохин.— А не веришь — проверь. Непременно проверь, только не нонче, а завтра. Согласный? Пусть проветривается до утра,— и еще раз прижал плечом дверь вакуумной и снова дважды повернул ключ, теперь уже с наружной стороны.

Тут Отар Давыдович все-таки сграбастал Рапохина в могучие свои объятия. Рапохин больше не сопротивлялся. По-моему, у него просто сил не было.

Довольный, счастливый, не пытавшийся скрыть своей радости, инженер громогласно объявил:

— Полный отдых всем! Тебе, тебе, тебе и тебе, дорогой...

Чтобы не было никакой ошибки, начальник, как в «считалке», коснулся груди каждого, кого имел в виду немедленно отправить домой. Пропустил только меня и Мазурину.

— А эти как же? — по праву старшего спросил инженера Рапохин.

— И эти, конечно, и эти. Чуть попозже только, да? — Отар глянул на нас так, словно просил снисхождения.— Золото мы промыть забыли? Забыли. Непорядок! Вот промоют, высушат, запрут в сейф — и на все четыре стороны. На час всего дела, самое большее на два, дорогой.

II

Чтобы не терять драгоценного времени, Олег тут же включил муфельную печь, я приготовился к перегонке дистиллированной воды, запасы которой, как часто бывает в подобных случаях, оказываются, кончились.

Через несколько минут мы остались с Олегом одни. Он долго возился с печью, температура которой, что тоже бывает в аналогичных ситуациях, никак не хотела подниматься. Примерно так же вел себя и аппарат по перегонке воды.

— Контакты, наверно, подгорели,— сказал Олег, заметив, что и у меня дело не ладится.

— У самого-то тебя контакты подгорели,— почему-то огрызнулся я.— Твое дело — муфель, за ним и гляди.

— Чего рычишь? — Олег поднял на меня чуть удивленные и совсем засыпающие глаза.

— Не рычу, тебе почудилось.

— Нет, рычишь, как бобик.

— Добрее бобика зверя нет.

Незло переругиваясь, мы все-таки делали то, что нам было поручено. Постепенно стал нагреваться перегонный аппарат, подала первые признаки жизни муфельная печь. В конце концов в пятнадцатилитровую бутылку упали первые капли дистиллированной воды. Медленно, но верно пополз вверх ртутный столбик над высоким асбестовым цилиндром разогреваемой Олегом печи. Мы приободрились. Если все пойдет дальше нормально, к ночи, глядишь, и мы отправимся по домам.

— Первые полсотни! — через некоторое время сказал Олег, прижимаясь очками к термометру, вмазанному в крышку печи.

Я подошел и увидел, что столбик термометра действительно срывался с отметкой «50».

— Комиссаришь? — обиделся Олег. — Комиссарь, комиссарь. За мной все комиссарят.

— Ерунду мелешь. Или засыпаешь? — Я тряхнул Олега за плечи. — Попробуй у меня только засни!

— Ага, все-таки «у меня»? Значит, верно, комиссаром ко мне приставлен.

— Дурак ты, Мазурин.

Перебранка наша то затихала, то вспыхивала с новой силой: мы, как могли, боролись со сном.

— Сам дурак, — помолчав, огрызнулся Олег.

— Ты же сказал «комиссар». В комиссары дураков, по-моему, не назначают, — без всякой злобы ответил я.

— Тебя не назначили — добровольно пошел. Давай, давай! Сколько там у тебя?

— Чего? — не понял я.

— Сколько капель нацедил? Скоро мыть надо бы золотишко-то.

— Сколько надо, столько и нацедил.

Воды было, однако, еще совсем мало — только-только стала покрывать она дно бутылки.

Лишь в полночь удалось нам промыть золотую пластину и подвесить ее в муфельной печи.

— Прогреем, как положено, засекай время, — сказал Олег и поудобнее примостился у муфеля, излучавшего теперь уютное тепло.

— Часы на рояле дома забыл, — ответил я и сел поближе к Мазурину, упершись локтями в стол.

Проснулись мы от резкого запаха черного лака, которым была покрыта подставка под муфельной печью. Табуреты, на которых мы сидели, с грохотом разлетелись в разные стороны. Я кинулся вырубать ток. Олег щипцами приподнял круглую крышку муфеля, она вырвалась и с грохотом покатила по полу. Из печи дохнуло нам в лица нестерпимым жаром...

Выхватив у Олега щипцы, я попытался извлечь ими золотую пластину из раскаленного жерла, но выплеснувшееся оттуда пламя заставило меня отпрянуть назад.

Кое-как защитив руки листом асбеста, я все-таки запустил щипцы внутрь печи, но ничего нащарить там мне не удалось.

— Там ничего нет, Мазурин!..

— Как нет?.. Ты что?..

— Там ничего нет... — Я выронил ставшие до половины белыми от перегрева щипцы на пол. Комната наполнилась таким едким дымом, что мы уже не могли разговаривать — только хриплый надсадный кашель вырывался из наших глоток.

Потолок лаборатории был озарен зловещим желто-золотым светом. Меня пронзила страшная мысль — золото... испарилось!

Я побоялся сказать об этом Олегу, но был почти уверен — золото превратилось в пар, в ничто, нас постигла катастрофа.

В перегонном аппарате вода продолжала кипеть. Крупными каплями она по трубочке быстро скатывалась в бутылку, подобрившись уже под самую горловину. Только теперь мы поняли, как долго проспали.

Перепуганные, жалкие, стояли мы друг перед другом, не зная, что придумать, как поступить.

В окне совсем близко, прямо за пустырем, занималась заря. Первый раз в жизни я не обрадовался восходу. Лучи его были почему-то особенно огненно-желтыми, золотыми и, словно в самом воздухе повсюду носились частицы драгоценного испарившегося металла.

В муфеле в этот миг что-то резко треснуло.

— Остывать начинает, — сказал я, не веря самому себе.

— А с чего бы ему трещать? — последовал вполне резонный вопрос.

Действительно, раньше, до какой бы высокой температуры ни разгоняли муфель, он остывал совсем по-другому.

— Скоро все увидим, он уже немного темнеет, — зачем-то соврал я, указывая глазами на печь, кратер которой пылал, как мне казалось, все жарче.

Муфельная печь была самодельной конструкции. Под руководством Отара мы соорудили ее из асбеста и каолина. Вмазали внутрь керамическую огнеупорную банку, обмотанную спиралью из никрома, и хорошо знали все повадки своего детища. Такого с ним никогда еще не бывало.

Внутри муфеля раздался еще более резкий и еще более зловещий треск. За ним — еще... Казалось, кто-то невидимым молотом дробил печь изнутри. Мы беспомощно ждали, что будет дальше.

— И все-таки остывает! — теперь я сказал уже правду — потолок над печью, даже высвеченный косым солнечным лучом, постепенно стал блекнуть. Через некоторое время мы смогли заглянуть внутрь му-

феля, где на платиновых проволочках обычно висела золотая пластина. Обычно висела...

Лица наши польхали от волнения и жара, но чем ниже склонялись мы над печью, тем мрачней становились.

— Может, на самом дне? — спросил я не то Олега, не то самого себя.

— Это было бы лучше всего, — прошептал Мазурин.

Я мысленно согласился с ним. В самом деле, если бы пластина только расплавилась, беда была бы все-таки поправимой.

Но когда печь остыла настолько, что мы получили возможность приступить к ее детальному осмотру, то поняли, в какую историю вляпались. Все, что было внутри муфеля, сварилось в дымящуюся кашу — из каолина, никрома и керамической глины.

— Натворили мы с тобой делов, Мазурик...

Олег вздрогнул, ссутулился еще больше, прошептал еле слышно:

— Бедная моя мама!..

Словам этим я очень удивился:

— Ты ж говорил, нет у тебя никого? Ни отца, ни матери.

— Никого и нет. Поговорка просто такая. С детдома еще. Вот глянь.

Олег расстегнул ворот рубахи. На тощей впалой груди его чьей-то нетвердой рукой было мелко вытатуировано: «мама».

— Но я не знаю ее, не видел никогда. И отца тоже.

Мне вспомнилось, что парень как-то действительно говорил про детдом, про судьбу свою, но тогда я пропустил все это мимо ушей, и сейчас мне вдруг стало стыдно.

— И родных никого?

— И родных. Да-а-а-вно уже.

— А как же ты?

— Как и все. Нас, знаешь, таких сколько разбросано по всему свету! Не знаешь. А я знаю. И могу, если интересно тебе, еще раз как-нибудь обо всем рассказать.

«Еще раз» — что это было? Укор? Мольба о снисхождении? Мол, не очень-то сильно меня судите. Вон я какой.

Никудышным я оказался психологом. Олег говорил со мной все спокойнее, все больше старался взять себя в руки. И наступило мгновение, когда он в самом деле совладал с собой, подавил в себе страх перед случившимся.

Дождавшись, когда печь еще немного остынет, он спросил меня:

— Будем караулить наших или начнем сами?

— Что начнем? — не понял я.

— Давай расколотим муфель, глянем, что и как там внутри, на самом дне и под ним. А?..

Я не решался. Олег настаивал:

— Хуже не будет. Давай, а?

— Куда уж хуже,— полусогласился я.

— Тогда начнем,— заявил Мазурин и в отчаянии занес над муфелем какую-то железяку. Я стал помогать ему. Через несколько минут лаборатория до потолка наполнилась едкой каолиновой пылью. Наши пальцы уже были сбиты на сгибах в кровь, но мы долбили и долбили — рвались к золоту, которое, мы таили надежду, сокрыто в еще продолжавшей излучать жар утробе муфеля.

Обжигаясь, поторапливая друг друга, мы раскалывали печь на мелкие куски. И все ясней и ясней начинали понимать — золото, если оно и осталось тут, то вошло в соединение со всем, что расплавилось вместе с ним.

— Ели, гуляли, пили...— обливаясь потом, промычал Мазурин.

— Он здесь ни при чем. Нам с тобой было дело поручено.

— Про нас и говорю. Сон видел — будто сидим мы с тобой в «Арагви», едим шашлык, пьем коньяк, гуляем...

— Болтун ты, Мазурин,— не к месту усмехнулся я.

— Почему болтун? Точно видел.

— Потому что в «Арагви» ты, как и я, никогда не был, даже не ведаешь, где он находится, шашлыка не пробовал и запаха коньяка не знаешь, и даже во сне ничего такого пригрезиться тебе не могло.

— Коньяк пахнет клопами,— безапелляционно заявил Олег.

— Я же говорю, болтун.

— Но зато шашлык ел, честное пионерское! Один раз...

— Где же, интересно? В «Метрополе»? Или в «Национале»? — щегольнул я знанием названий популярных ресторанов.

— У братишки, на свадьбе...

Олег опять почему-то сказал неправду, но спорить с ним я больше не захотел. Только что уверял, будто никого близких у него давным-давно нет. И вдруг — «братишка». Жил бичико наш бедно, неустроенно, вечно стрелял у кого-нибудь трешку «до полочки». Откровенно говоря, мне всегда было жаль парня. Никогда не отпускал я едких шуточек по его адресу, одергивал тех, кто занимался этим, хотя неуклюжестью, бестолковостью своей он мог вывести из равновесия кого угодно. Кроме Клавуни, конечно. Она ему все и всегда почему-то неизменно прощала.

Я попробовал повернуть разговор в нужную сторону:

— А отвечать будем оба, слышь?

Олег очень рассердился:

— Иди ты знаешь куда...

— А вот то, что злиться умеешь, хорошо, Мазурин. Не совсем, значит, лапша!

— Сушить мне поручили. Я натворил все это. Так и скажу Отару...

— Он первым сегодня явится, так и знай,— не дал я договорить Олегу.

— Первым? — испуганно переспросил Мазурин и сразу сник. Губы его вздрогнули, он, поняв, что я заметил это, рванулся из комнаты.

— Ты куда, Олег? погоди! — крикнул я вдогонку, но он не остановился.

Минутой позже я увидел Мазурина бегущим по пустырю в сторону трамвайной остановки. Он бежал так быстро, как тогда, за Рапохиным, а может, и побыстрей.

Я закричал в окно, чтоб вернулся. Олег не слышал или не хотел слышать. У меня не было сил его преследовать. К тому же решил: пусть побудет немного один. Человека в таких случаях обязательно надо оставить на какое-то время в покое.

«В таких случаях?» — я удивился собственной мысли. Откуда тебе, собственно, знать, что надо делать в таких случаях? Много их у тебя было? Да и случались ли вообще? А вот видишь, не было ни одного. То-то и дело! Решение, стало быть, принял неверное. Бросил недотепу на произвол судьбы...

Теперь уже я мчался через пустырь. Верткая глиняная тропка вихлялась под ногами, как лыжи на сыромятных ремнях. Пока добежал до остановки, раза два пахал землю носом. Трамваи, судя по всему, еще не ходили. Во всяком случае, Мазурин никуда не уехал. Сидел на покрытой росой зеленой деревянной скамеечке, весь перемазанный глиной.

— Пахал? — спросил я.

— Поскользнулся, — тяжело дыша, сказал он. — Ты тоже хорош.

— У меня-то хоть цель была.

— Меня догонял.

— Правильно. Догадался, ай да Мазурин! Понять не могу, отчего тебя ребята чудиком считают? Ты ж сообразительный. Гений. Спиноза просто!

Олег грустно улыбнулся:

— Будешь смеяться, но меня в детдоме так и звали — Спиноза... Не веришь? Звали. И знаешь за что? Линзы умел шлифовать в нашей мастерской. Один старик научил. Степан Степаныч. Он же и Спинозой меня окрестил, когда дело пошло. Ну, а ребята подхватили. Только они насмеялись, а он по-серьезному. Рука, говорил, у тебя, Мазурин, точная, правильная, как у Спинозы, а тот по линзам будто бы кудесником был.

Мазурин задумался, соскреб щепкой глину с одного из ботинок, сказал мечтательно:

— Сыскать бы сейчас мне этого Степаныча! Вот уж кто кудесник так кудесник! Он все может, на все руки мастер. На самом Демидовском заводе когда-то первым плавильщиком был...

В голосе парня, как мне показалось, вдруг прорезалась новая нотка. Соскреб глину с другого ботинка и говорит:

— Послушай, напарник, а ты одолжить можешь?

— Трешку? До полочки? — съязвил я, и съязвил, как тут же смикитил, не к месту.

— Тебя как человека спрашивают.

— Сам бы одолжил у кого-нибудь, посмотри.— Я дотронулся носком своего разорванного «скорохода» до такого же драного «скорохода» Мазурина.

— Нет, серьезно, послушай, одолжи, а? На самолет. Сколько может стоить билет до Ленинграда, как думаешь?

Я, удивленно глядя на Мазурина, замотал головой, а он продолжал соскребать глину с ботинок с такой тщательностью, словно первый шаг его после этого будет на стерильно чистый трап самолета. Соскребал и твердил свое:

— К Степанычу, к Степанычу, только к нему! Он всегда говорил, если у тебя чего приключится-стрясется, Спиноза, дуй прямиком ко мне, в Питер.

— Ты толком что-нибудь объяснить можешь? Или нет? — перебил я Мазурина.

— Если одолжишь, объясню.

Олег изложил мне свой план. Он показался мне совершенно нереальным, но другого ни у него, ни у меня не было. Молчаливые, угнетенные, мы вернулись в лабораторию и приступили к выполнению первой его части.

Надо было прежде всего тщательно собрать все, что осталось от расколенной нами печи. Все до единой крошки. В самом дальнем углу лаборатории стоял вылинявший пыльный фибровый чемодан, год назад забытый кем-то из командированных. Елигулашвили давно порывался вышвырнуть это барахло на пустырь и даже отдавал соответствующие распоряжения Клавуне, но чемодан каким-то чудом оставался на месте. Рапохин пошучивал: «Сгодится еще, он же новый совсем, разохся просто, так мы его при случае склеим».

И вот чемодан «сгодился». Мы извлекли его из угла, обтерли и начали бережно укладывать в него все, что осталось от муфеля,— осколок к осколку, крошку к крошке.

За этим занятием застал нас приехавший прежде всех Рапохин. Пришлось ему первому поведать обо всем, что произошло в лаборатории этой ночью, и о том, что Олег «со всем этим» летит в Ленинград к Степану Степанычу.

Рапохин, который всегда немного заикался при волнении, выслушав нашу исповедь, вообще чуть не потерял дар речи. Он бросился к еще не закрытому нами чемодану, уставился в его содержимое, и испуганное стариковское «вы с-с-с ума с-с-сошли, вы с-с-совсем с-с-спятили...» завизжало, как заезженная пластинка, у которой сбившаяся с курса иглолка начала драть одну и ту же борозду.

— А что делать, Рапохин? Другого выхода нет,— попробовал

я урезонить старика, хотя затея наша мне самому казалась теперь уже просто бредовой, но отступить было поздно и некуда.

— Что делать, Рапохин? Что? — начал я другой иглой пахать другую борозду пластинки.

Старик запричитал:

— Вы понимаете, ироды, что н-н-натворили? Ни грамма не понимаете, дьяволы. За семь моих десятков такого не было! За всю жизнь не рас-с-считаетесь...

Рапохин продолжал в том же духе, мы обреченно слушали и, казалось, не слышали. Олег плотно, на обе заржавленные защелки, закрыл крышку чемодана, я помог перевязать его крест-накрест крученым электрическим шнуром (на всякий случай), и мы отправились к моей тетке, у которой я не был давно, кажется, с Нового года.

Придумав какую-то малоправдоподобную историю, я заполучил у родственницы немного денег. Через час мы уже шастали у касс Центрального аэропорта.

Пока раздобывали билет, пока дожидались самолета, я времени зря не терял, бесконечно наставлял и инструктировал Мазурину:

— В багаж не сдавать ни в коем случае. Глядеть в оба. За ручку не брать, а вот так, только так, понял? В обнимочку...

Я снова и снова показывал Олегу, как именно должен он держать и нести чемодан.

На нас со всех сторон уже стали поглядывать любопытные. Они, конечно, и приблизительно не могли догадаться, какое сокровище держал в охалке странного вида парень, перемазанный глиной, бедно одетый, с блуждающими от волнения глазами за толстыми стеклами непротертых очков.

Когда наступила минута прощания, Олег не мог выговорить ни слова. Я же просто не знал, что сказать бедолаге. Глядя вслед Мазурину, шагавшему на посадку, думая обо всем сразу — о безрассудности нашей затеи, о провалившейся вахте, о цезиевых фотоэлементах, которым не суждено выйти к сроку, обо всем, чем все мы жили последние дни и часы. А еще — о будущем, в том числе и самом ближайшем. О предстоявшем объяснении с Отаром, перед которым мне первому держать ответ. Пытался представить себе, как взорвется кавказец, узнав о случившемся. И представить не мог. Твердо знал только одно — нам с Мазуриным несдобровать. И какое бы возмездие ни свалилось на наши головы, будет оно заслуженным. Беспечные, безответственные ротозеи из ротозеев, шляпы из шляп. Словом, готовил себя к самому худшему.

В совершенно подавленном настроении отправился в лабораторию. По пути молил бога, чтоб двойка катилась потише. С какими глазами появлюсь перед Отаром, перед всеми? Что и как скажу? Одно было ясно — Олега подводить нельзя. Все возьму на себя. Я, скажу, во всем виноват. Один я, и больше никто. Да так ведь оно и было в действитель-

ности. Никакого моего благородства не было, конечно, в том, что я намеревался заслонить собой мальчишку. Я, пусть ненамного, но все-таки старше, опытнее, с меня и спрос. Когда так рассудил, на душе у меня стало вроде немного лучше. Все же не два человека пострадают, а только один. Простая «арифметика» эта пришлась мне по вкусу, я ухватился за нее как за соломинку и весь остаток пути до самых дверей лаборатории репетировал предстоявшее объяснение с инженером.

— Кто старше из вас? — стиснув зубы, спросит, конечно, начальник.

— Я, — отвечу. — И вообще Олег бедный парень, у него нет ни отца, ни матери...

— Это к делу не касается, — перебьет меня наверняка Отар.

— То есть как это не касается? Касается! Да вы что? Подумайте, Отар Давыдович, это ваш кадр.

— Никакой он не кадр, — рявкнет начальник и будет прав, не набрал еще силенок Мазурик наш, что факт, то факт, какой из него, к лешему, лаборант? Так, горе одно, слезы!

Тут я вставляю, конечно, словечко о том, что детдомовский он, что родители на гражданской войне погибли. И отец и мать. Образование у него не ахти какое, но причина все та же: жизнь, дорогой Отар Давыдович, жизнь! Крутовато сложилась. Круче некуда. Слепым кутенком Мазурик поплыл по волнам. До сих пор барахтается. Учить его надо. Он же параллельного от последовательного соединения аккумуляторов отличить не может, нормально это? Ненормально, Отар Давыдович. Стыд и позор всем нам! Одним словом, сильно винить нельзя много, и вообще...

— Оставь ты свое дурацкое вообще, дорогой! — крикнет начальник, потом помолчит, метнет в мою сторону грозный взгляд и спросит:

— А ты точно знаешь?

— Насчет чего? — прикинусь я непонятливым, хотя и ребенку ясно, что про гражданскую войну речь.

— Точно знаешь насчет гражданской? — повторит свой вопрос Елигулашвили.

— Знаю, — скажу, — Отар Давыдович, дорогой! Точно. Об остальном вам самому прекрасно известно...

На этом месте моей репетиции стал я противен сам себе. Вместо серьезного разговора балаган какой-то получался. Нашел время шутки шутить! Отчего это? От нервов? Точно, от них. Олегу хорошо, он отбыл в город на Неве, а как тем, которые остались в столице, на реке Москве? Вот видны уже окна в красной кирпичной стене нашей лаборатории...

С тяжелым сердцем распахнул я знакомую дверь, да так и замер в ее проеме, не решаясь переступить порога: меньше всего ожидал я увидеть то, что увидел. Все были уже в сборе. В белых халатах

сидели на своих рабочих местах — кто у электросварочного аппарата, кто у аккумуляторных батарей, кто в вакуумной. Все были заняты своим делом, как в самый обычный день. Даже перепаханный нами паркетный пол, казалось, приходил в себя после потрясения. Сдранные нами дощечки все до единой были сложены вдоль стены в штабеля с такой аккуратностью, словно ждали паркетчика, который вот-вот явится и станет выкладывать из них длинные ровные «елочки», прилаживая торец к боковине, шип к шипу.

По черной, поблескивавшей варом обнаженной подкладке паркета из конца в конец лаборатории шагал Отар Давыдович. Его башмаки прилипали к вару, громко щелкали при каждом движении. Наверно, поэтому никто не услышал скрипа отворенной мною двери, и несколько мгновений я наблюдал за происходящим никем не замеченный.

Я негромко кашлянул, Елигулашвили резко обернулся, все рванулись ко мне. Смерив меня острым, быстрым, чисто кавказским взглядом, начальник воскликнул:

— Наконец-то, дорогой! Ну, входи же, входи, дорогой, ты что, в гости пришел, да?

Я приготовился начать отрепетированное, Отар Давыдович опередил меня:

— Все знаю, дорогой, объяснений не надо. И про аварию и про ленинградского мастера. Конечно, что такое Москва, дорогой? Так, большая деревня! Разве тут найдешь специалистов? Ленинград совсем иное дело, дорогой, совсем иное...

Я смотрел на начальника и никак не мог понять, шутит он или говорит серьезно. Лицо инженера отливало белизной, руки, высушенные из-под халата, накинутого на плечи, как бурка, нервно вздрагивали, но голос был спокойным, таким спокойным, что во мне появилась надежда. Может, нет никакой катастрофы? В панику зря ударилась? Вот не мечет же начальник грома и молнии? Не мечет.

Словно угадав мои мысли, Елигулашвили спросил:

— Испугались?

Я наконец начал:

— Отар Давыдович, это я виноват. Я один. Олег тут ни при чем!

— Врете! — рявкнул начальник, вдруг перейдя со мною на «вы». Ничего хорошего мне это «вы» не сулило.

— Врете и не краснеете. Если уж честно сказать, виноват во всем один человек — тов. Елигулашвили О. Д. Да, да! И уж ему-то вкаты как следует! Вахту затеял, людей измотал, в самый ответственный момент первым свой пост покинул...

Он наверняка хотел добавить, что важное дело двум растяпам доверил. Но не добавил, только еще злее глазами сверкнул в мою сторону. Повторил вопрос:

— Сильно испугались? Только честно.

— Испугались,— сознался я.— Сильно.

— Вот это другой разговор! Люди должны правду говорить друг другу. Только правду, дорогой. Иначе...

— Скажите, пожалуйста,— не слишком-то вежливо перебил я Отара,— дело наше плохо? Совсем? Да?

— Плохо. Совсем. Мальчишество, авантюризм, дорогой! Поехать с таким в незнакомый город, неизвестно к какому человеку! Не нахожу слов, дорогой...

— Отар Давыдович,— попробовал возразить я,— и город знакомый и человек не посторонний. Олег знает его еще с детского дома.

— Как его фамилия? Адрес? Где и кем работает? — обрушился на меня целый град вопросов. Ни на один из них у меня ответа не было. Буквально ни на один.

Отар, сжав пальцы в кулак, постучал побелевшими косточками себя по лбу.

Воцарилось тягостное молчание. Каждый, конечно, ждал, что еще скажет, как дальше поведет себя Елигулашвили. А он приходил в состояние все большего волнения и, видимо, боясь выдать себя, замолк. Лучше бы уж он ругал меня и Олега на чем свет стоит! Находил бы самые уничтожающие слова, я б не обиделся. Но он, не сказав больше ничего, сел за стол, распахнул перед собой какую-то книгу и сделал вид, что погрузился в чтение.

Чтобы хоть как-то отвлечься от случившегося, все искали и находили себе какую-нибудь работу. Опять и опять приводили в порядок инструменты, вновь и вновь подзаряжали и без того заряженные и даже перезаряженные аккумуляторы, снова и снова принимались гнать впрок дистиллированную воду, выравнивать и так безукоризненно ровные штабеля паркетин, выложенных вдоль стен.

Как все, я вскоре тоже занялся каким-то делом, но делал его машинально и потом даже не мог вспомнить, что именно.

Так прошло много часов. Еще один день клонился к вечеру. Еще один день цезиевой вахты, так удачно начавшейся и так неожиданно рухнувшей.

У всех была на душе тревожная мысль. Об Олеге. Что он там?

Судя по всему, об Олеге думал, конечно, и Отар Давыдович. О нем, безусловно. И дума та была невеселой, как и многие навалившиеся на нас тогда думы.

В ту пору весны сорок первого в воздухе уже пахло войной. Она еще не ворвалась в наш дом, на нашу землю, но о ней все чаще и чаще начинали говорить между собой люди. Заходили разговоры о ней и у нас, в лаборатории. Вахта не случайно возникла. Это была наша реакция на все, что происходило вокруг, и на грядущее, которое было не за горами.

Елигулашвили, у которого брат служил на западной границе и приезжал недавно в краткосрочный отпуск, рассказывал, как пылят дороги в соседнем государстве — враг стягивает силы — танки, артиллерию, готовится днем и ночью, ночью и днем.

— Пылят, пылят дороги по ту сторону кордона! — красноречиво подчеркнул Отар Давыдович, объясняя нам ситуацию.

— А по эту? — вырвалось у кого-то из нас, кажется, у Рапохина. — По эту что делается?

— Что положено, дорогой, то и делается, — ответил начальник и почему-то рассердился, — я что вам, нарком обороны? Одно знаю, работать надо лучше, от этого зависит многое.

— Мы ведь все понимаем, — вздохнул Рапохин. — Надо — значит надо, Отар Давыдович, так и скажите.

— Так и говорю, дорогой. Надо. На-до!

Недлинным был тот разговор, совсем коротким, но в память врезался. Стали мы гайки ту же подкручивать. И за дисциплину взялись и за производительность.

III

Потянулись бесконечные дни ожидания того, чем закончится эпопея Мазурина. Чего только не передумали мы, каких только чувств не извели! Каждый переживал, каждый высказывал свои предположения. И так судили-рядили и этак. И, скажу откровенно, все больше как-то вкривь и вкось получалось, шиворот-навыворот. Особенно я себе места не находил. И еще почему-то Клавуня, хотя вида не подавала. Веки у нее были все время красными, голос и без того тонкий, почти детский, совсем истончился. Пищала Клавуня комариком. Но, как это ни странно, именно она попыталась уговорить начальника, пока суд да дело, о золоте шума не подымать.

— Я верю в Олега, Отар Давыдович. Никуда он не пропадет, вернется, — повторяла она, — вот увидите! Он хороший...

— Совсем прекрасный! — не скрывая раздражения, восклицал инженер. — Все хорошие, все прекрасные. И ты, и он, и он, дорогая. А когда и с чем явится? Глаза б мои не глядели на прекрасного этого!

Трудно было определить, что в словах тех перевешивало? Сочувствие? Надежда? Гнев? Скорее всего — последнее, отосившееся, уверен, и ко мне в равной степени, а может, и в большей. И не «может», а точно.

С утра до вечера ловил я на себе косые взгляды товарищей. И, казалось мне, чаще всего Клавунин заплаканный, осуждающий взгляд.

Не знаю уж, Клавунина в том заслуга или еще по какой причине, только «шума» начальник подымать действительно покуда не стал. Мы это точно знали. Проверили. И оценили. Я, кажется, особенно. И не «кажется» — совершенно определено. По душе пришлось мне выдержка Отара. Понравился его характер мужской. Во мне самом все клокотало внутри. И гнев, и надежда, и сочувствие. Все перемешалось, все спуталось в один клубок, как в перекаленном муфеле. Больше всего в том клубке злости, наверно, было. И не «наверно», а именно злости.

На самого себя, разумеется, на кого же кроме? Недоглядел, в панику ударился, глупостей натворил... С этой мыслью вставал, с этой мыслью ложился. А если точно сказать, не смыкал глаз почти целую неделю. Первым приходил в лабораторию, последним закрывал ее на замок. И целыми днями шарил и шарил сквозь окно глазом по верткой тропке пустыря, на которой рано или поздно должен же был появиться Мазурин с фибровым чемоданом! Во всей лаборатории твердо верили в это, по-моему, только два человека. Я и Клавуния. Она даже чаще меня бросала тревожные взгляды на тот пустырь. На ту трамвайную остановку.

И однажды утром...

Однажды утром, когда, по правде говоря, моей вере уже край подошел, я узрел-таки сквозь густую сетку весеннего перекрестного дождя неуклюжую фигуру человечка, семенившего по глине в нашу сторону. Я тихонько окликнул было Клавунию, да опоздал — она уже вплющилась лицом в стекло соседнего окна, плечики ее под локонами широко разбросанных блестящих волос еле заметно вздрагивали. По этим-то плечикам я и понял, что не ошибся.

Мазурин возник на пороге лаборатории — до нитки вымокший, изможденный, осунувшийся, почерневший. По чемодану его только и можно было узнать. По чемодану, который он держал, как я учил — аккуратно, в обнимочку...

Сначала к Олегу Клавуния кинулась. Молча провела узкой ладошкой по исхлестанным дождем вихрам и улыбнулась. Первый раз за все эти дни. Ее легонько оттеснил Отар, тоже не нашедший в этот миг нужного слова. Только минуту или две спустя прорвалась, зарокотала кавказская скороговорка:

— Что стоишь? Входи, дорогой! Как съездил, дорогой?!

Олег вошел, не выпуская из рук чемодана, плюхнулся на пододвинутый Клавуней стул, обвел всех своим не только близоруким, но сегодня еще и никоим из нас не знакомым взглядом. Положив чемодан на мокрые, залепанные глиной колени, решительно щелкнул сразу двумя металлическими пряжками. Фибровая крышка резко откинулась, мы увидели целую гору деревянных опилок.

Нетерпеливый кавказец воскликнул:

— Это все, что осталось от золота, да?!

Как обычно, не до конца было ясно, шутит начальник или говорит серьезно. Впрочем, до шуток ли было в тот миг? Серьезно, конечно, спросил, а если содержалось в том вопросе ноль целых пять десятых от шутки, то это, как говорится, только для собственной храбрости.

— Все, что осталось, Отар Давыдович,— сказал Олег, глубоко запустив обе свои пятерни в опилки, вычерпывая их из чемодана и ссыпая возле себя прямо на пол, несколько раз повторил одно и то же:

— Почти все, Отар Давыдович, почти все...

Еще минута-другая, и в ладонях Отара как молния полыхнул прямоугольный золотой слиток.

Даже выдавший виды Рапохин не поверил своим глазам. Взял из рук начальника золото, тяжело подбросив его в воздух и тяжело поймав, спросил:

— Неужто оно?..

И сам себе ответил:

— Оно вроде! Тянет на тот вес. Верно слово, тянет! Смотрите...

Слиток, сверкая огнем, стал переходить из рук в руки, пока наконец вернулся к Отару. Тот, еще раз взвесив сокровище на ладонях и покрутив головой, вздохнул — не то облегченно, не то недоверчиво:

— Я вижу, ты устал, бичико. Ты очень сильно устал, и все же два слова, дорогой, совсем очень коротких два слова — как все было там, в Ленинграде?

Олег сам, судя по всему, испытывал крайнюю необходимость отчитаться перед начальством и товарищами, прямо тут же, не откладывая.

Отчет его был коротким:

— Еле-еле сыскал Степаныча. Со старой квартиры съехал. Нового адреса никто из соседей не помнил. Полгорода исколесил. Сперва не узнал меня дед, стал подслеповат, вроде меня.— Олег дотронулся до засаленных своих очков, инженер нетерпеливо поторопил в этом месте Мазурина:

— Не отвлекайся, дорогой, прошу тебя! Про это потом. Как все было с золотом?

Олег продолжал:

— Я ему про беду нашу, а он — золото, говорит, ерунда! Как хорошо, говорит, что свиделись! Я ему снова про аварию, он опять за свое: не было бы счастья, да несчастье помогло!

— Еще короче можно, дорогой? — взмолился Елигулашвили.— Совсем короче!

— Могу, но тогда непонятно будет...— смутился Мазурин.

— Дай человеку высказаться, начальник,— вступил в разговор Рапохин.— Не перебивай,— он хитровато подмигнул Олегу, дескать, дуй до горы, парень! Давай дальше!

А дальше все было так. Выслушав Олега внимательно, Степаныч ухмыльнулся, сказал, что в Москве, конечно дело, свои мастера имеются, и еще какие! Но и питерцы не лыком шиты. Забрал у Олега чемодан со всеми осколками, отдыхай, говорит, с дороги, а я в мастерскую, к ребятам, которые блох подковывают. К вечеру, говорит, разберемся. К вечеру, однако, не успели, не справились и на следующий день. Что-то не заладилось там у них. Что точно, Олег не может сказать, но не заладилось, не заладилось... Целых три дня ходил Степаныч чернее тучи. Не ел, не пил, не спал, ни с кем дома,

даже с Олегом, не разговаривал, только рычал на всех. И на Олега тоже. Мазурин совсем было пал духом, решил купить билет на Москву и очертя голову возвращаться. Сказал в последнее утро об этом Степаньчу. Старик еще раз рыкнул на Олега, а в обед пришел повеселевший. Положил на стол тяжелый плоский сверток, принимай, говорит, работу. Худо-бедно, выплавили ваше золотишко. Поезжай спокойно...

На этом Олег посчитал свой рассказ покуда исчерпанным. О самом главном хотели узнать? Получайте, дескать, самое главное. Остальное другим разом, как-нибудь, если будет кому интересно.

Кончились и вопросы начальника. Надо было скорее отправлять парня домой — отсыпаться за целую неделю. Инженер именно так, судя по всему, и имел в виду поступить. Но до того он должен был, разумеется, сделать еще одно важное дело — взвесить золото.

Распахнув стеклянные дверцы шкафа, Елигулашвили снял чехол с весов, и привезенная Мазуриным пластина опустилась на их чашу. Все, кто был в лаборатории, затаив дыхание сгрудились перед шкафом. Красная стрелка весов сперва решительно рванулась вверх, к контрольной отметке, но, далеко не добравшись до нее, так же решительно остановилась...

Самым удивительным было, пожалуй, то, что «недовес» этот менее всего огорчил двух человек — Отара и Олега. Оба они были совершенно спокойны.

Один сказал:

— Не страшно, дорогой. У меня есть кинжал — рукоятка из чистого золота. Говорят, наследство, но что поделаешь? Смастерим рукоятку простую. Понял, бичико? И не волнуйся, все беру на себя. Как-нибудь рассчитаемся с государством.

Другой ответил:

— Спасибо, Отар Давыдович, большое спасибо! Вы очень добрый человек, но своего золота вам добавлять не придется. Ни одного грамма.

— Как это, ни грамма? Стрелку хорошо видишь, дорогой?

— Вижу.

— Хорошо, я спрашиваю?

— Хорошо, Отар Давыдович. Но вы просили рассказать вам только самое главное. Я так и сделал. Теперь про неглавное: пластину после отливки опиливали и строга́ли мастера в последний момент. И еще дырки по углам сверлили, чтоб все в точности, как прежде, было. Часть золота, значит, в стружку ушла.

— В стружку?.. — переспросил инженер.

— В стружку, Отар Давыдович. Но Степаньч сказал, чтоб в Москве не волновались: все до единой крохи будет собрано, сплавлено и привезено в ближайшие дни с одним верным человеком.

— Это правда, дорогой?
— Это правда, Отар Давыдович.
— Тогда совсем молодец, дорогой! Давай твои пять, дорогой, давай, давай, не стесняйся.

Инженер крепко пожал неловко протянутую ему руку Олега.

Еще через минуту-другую была отдана команда всем готовиться к катодному пылению. Всем, кроме Мазурина. Ему было приказано немедленно ехать домой: полный отдых до завтра!

* * *

Цеэиевая вахта в лаборатории контрольно-измерительных приборов продолжалась. Во все последующие дни — уже с участием Олега Мазурина.

Настроение у нас было отличное, в полном смысле предмайское.

Обычно замкнутый, не по-кавказски сдержанный Елигулашвили, делая очередные записи в журнале или вычерчивая чертежи, громко навистывал что-то мажорное. Потом вдруг незаметно исчезал. Наверное, ездил докладывать о том, что работа идет успешно и завершится в срок, а то и прежде срока.

Рапохин сквозь шум моторов, никого не стесняясь, бесконечно намурлыкивал любимые свои романсы.

О Мазурине и говорить не приходится. Он был вообще именинником. Им и выглядел. Уже никому не казался беспомощным и нескладным.

При всей своей близорукости Олег орлом озирал вверенный ему участок работы. Только толстые стекла очков посверкивали. Не знаю вот, замечал ли при этом парень, какие взгляды бросала на него Клавуна? А она, пожалуй, смотрела в те дни только на Олега. И не «пожалуй», а совершенно точно, точнее некуда! Только на Олега. Только на него одного и ни на кого иначе.

Глаза Клавуни, и без того с ослепительной прозеленью, теперь были все время зеленее зеленых. Они светились — весной, лаской и обожанием.

БЕССОННЫЕ НОЧИ

Крапивину опять не спалось. Сперва слишком громко лязгали за окном колеса последних трамваев. Потом где-то далеко, за каменной громадой домов, долго надсадно лаяла собака. Потом ни с того ни с сего старые раны занули. А вдобавок ко всему вспомнилась одна ветеранская встреча.

Они сидели в этой комнате — на стульях, на кушетке и даже на кровати, ибо кворум был полный: весь «наличный состав» воздушно-

десантной дивизии, в рядах которой приняли они боевое крещение в самом начале войны. Каждому выпали потом разные задания и маршруты — кого в Белоруссии сбросили, кого под Питером. Крапивина как опытного радиста — на подмогу к украинским партизанам, в хорошо знакомых ему с детства местах. После Победы солдаты сорок первого, самого трудного года, сыскали друг друга и теперь держатся «кучно», как и положено парашютистам. Из разных городов съезжаются. Встретятся — нет конца разговорам...

Крапивин рад, что дороги товарищей по оружию сходятся именно в его доме, который давно уже нарекли штабом десантной дивизии. Сам-то он не особо любит ворошить былое — не всем ведь и не всегда улыбалось военное счастье. Уж кто-кто, а он в точности знает: далеко не всем, далеко не всегда. К таковым относит он себя в первую очередь, но в тот вечер, поддавшись общему настроению, завел вдруг разговор про забытую всеми историю о том, как послали его однажды в разведку под Колодчю и что из этого вышло. А вышла простая, в сущности, вещь — Крапивин ночью проник в расположение танковой дивизии немцев, выкрал там «тигра» и на нем прикатил к своим. За операцию эту была выдана парашютисту медаль от командования. На лицевой стороне медали чеканка: «За отвагу».

Кто-то из дружков поддакнул:

— Точно, старик, было такое дело под самой Колодчю! Да и в партизанском отряде ты, сказывают, давал жизни герману!

А внук Крапивина, студент филфака Шуренок, как ласково звали его все в доме, услышав дедов рассказ, воскликнул:

— Тебе бы, дед, все такое вот записывать, записывать! Колоссально, нет, это просто потрясно!

Шура поднял на деда восторженные глаза, а Крапивин, смутившись, осекся и не проронил за весь вечер больше ни слова.

С тех пор, когда соберутся снова дружки и зайдет речь о боях-походах, Крапивин других слушает, на внука посматривает (а он непременно уж тут как тут), сам же в разговор не вступает, будто и не был на Великой Отечественной.

Он понял в тот вечер: любит внук деда, души в нем не чает, вот и высказался. И слово-то какое выкопал — «потрясно»! На самом же деле старому да и малому было, конечно, совершенно очевидно: ничего «потрясного» нет в дедовой судьбе. Только вот с «тигром» однажды и повезло. А до «тигра» и после него одни сплошные неудачи — контузии да ранения, санбаты да госпиталя.

Так или иначе, стали с той поры всплывать перед Крапивинным-старшим случаи, где ничего «потрясного» уже не было и в намере.

Чаще всего перебирал солдат в памяти все, что приключилось с ним зимою в заболоченном Черном лесу. Леса, можно считать, уже не существовало — все было спалено кругом, все с корнем повывернуто, а немцы, со свойственной им обстоятельностью, продолжали

минометный обстрел. Горстке партизан податься некуда: впереди река, сзади — другая; обе бурлят ледяным крошевом. Головешки сбитых, обструганных огнем и металлом деревьев вновь и вновь взлетают в воздух, опять и опять с шипением и стоном плюхаются в снег и воду.

Понимали фашисты: не до самого конца доколочен отряд, за которым охотились целый месяц и который причинил им столько хлопот. И в общем-то не ошибались: жизнь на том пятачке каким-то чудом все еще теплилась. То там ворохнется человек, то здесь.

— Ты, что ли, стонешь тут? Эй! Живем, значит? — в просвете между двумя арналетами услышал Крапивин донесшийся из-за ближней коряги осипший, хорошо знакомый голос.

Голосу тому Крапивин очень обрадовался:

— Я, Скороходов! Тяну помаленьку, но горячее на ноле. Кровь снегом останавливать можешь?

Скороходов, чуть высунувшись из своего укрытия, сказал, что дело это привычное.

— Тогда ползи как-нибудь сюда,— попросил Крапивин,— и поскорей, если можно.

— А вот ползти не могу, пробовал. В живот раненный.

— Эх, горемыка ты, горемыка! — вырвалось у Крапивина. — Скороход называется...

— Не говори! Но думаю дотянуть до прихода наших. Командир третьего дня сказывал, будто идет подкрепление. Хорошо б дотянуть, а? Твоя думка о чем, ежели не секрет?

— Какие могут быть секреты у смертников? — ответил Крапивин. — Забыли про нас, Скороходов, забыли. Есть, видать, и поважнее дела.

— Ну, это ты брось, Крапива! — одернул его Скороходов. — Дурацкие разговорчики. На-ка покури лучше, может, полегчает.

Недалеко от Крапивина шлепнулась в болотную жижу пулеметная масленка о двух горлышках. В таких они держали махорку, чтоб не отсырела. Достать масленку Крапивин, однако, не смог, сколько ни пытался.

Узнав об этом, Скороходов выругался:

— Мазила! Ни себе, ни людям. Вот и покурили мы с тобой, вот и полегчало...

— Полегчало,— согласился Крапивин.

Ему и в самом деле стало почему-то лучше, и он еще раз попробовал дотянуться до масленки. Острая боль в боку опять не пустила его. Превозмогая мучения, Крапивин все же чуть приподнялся на локтях, спросил Скороходова:

— Остальные-то как? Хоть кого-нибудь видишь? Рябов где? Вон там ведь у самой воды маячил. Кликни его, от тебя вроде поближе. Может, худо ему?

— Санитар его уволок на плащ-палатке. Колея осталась. Широкая! — не очень удачно соврал Скороходов.

— Санитар, колея! — рассердился Крапивин. — Чего шарик вращаешь? Откуда взялась тут санитару?

— А я тебе говорю, уволок! Верно слово, сосед...

Скороходов задумался на мгновение, потом почему-то добавил:

— ...сосед слева.

Собственно, не «почему-то», а по очень ясной причине. Сегодня, десятки лет спустя, Крапивин понял это лучше, чем понимал тогда. На военном языке слово «сосед» всегда вселяет надежду в солдатское сердце. «Сосед справа», «сосед слева» — будто много еще своих вокруг. Куда ни повернись — все свои и свои. А коли так, значит, нужно держаться, не все, стало быть, потеряно, хоть порой трудно, дальше некуда.

— Послушай, Крапива, чего все же желает душа твоя в этот час? — не унимался Скороходов. — Только честно, все как есть выдай. Ну!

— Ежели честно, о наркомздраве господа бога молю, — без колебаний «выдал» Крапивин.

— О чем, о чем?.. — не понял или притворился, что не понял, Скороходов.

— О наркомздраве, — повторил Крапивин. — А коли желаешь все до конца знать, то и о наркомземе.

— Теперь уж совсем туман — наркомздрав, наркомзем... Куда загинаешь?

Минуту-другую они молчали, прислушиваясь к еще стоявшей вокруг тишине. Потом до Крапивина снова донесся хриплый голос:

— Неужто и впрямь решил концы отдавать? Тряпка!..

Больно резануло это Крапивина, до сих пор помнит. Хорошо еще, что нашелся, ловко ли не ловко, но кое-как вывернулся:

— Перво-наперво о санбате думка моя, я же ясно сказал. А уж по самой крайности о сырой земле. Во вторую очередь, стало быть, о ней. Теперь сварил?

— Во вторую, во вторую! — не то проговорил, не то прорычал Скороходов. — Соображать надо, потом говорить! Соображать...

Скороходов запнулся на полслово — небо, давшее было раненым короткую передышку, пуце прежнего заскрежетало железом.

Больше не слышал Крапивин Скороходова, как, впрочем, не слышал и не видел уже ничего происходившего вокруг, словно провалился в глубокую воронку от взрыва, на самое дно...

Сколько еще били фашисты по лесу? Час? День? Два? На эти вопросы нет и уж никогда не будет ответа, хотя Крапивин до сих пор напрягает всю свою цепкую солдатскую память.

Он помнит только, что очнулся от тишины и света. Да, именно так: в чувство привели его абсолютная тишина и яркий солнечный луч.

В первые секунды даже подумалось: что-то случилось со зрением и слухом. В действительности же, как очень скоро понял Крапивин, у него было отнято все, кроме способности видеть и слышать. Он не мог шевельнуться, не в состоянии был изменить нелепой позы, в которой оказался, очевидно, в результате еще одного взрыва, швырнувшего его спиной на огромное бревно, косо вздыбившееся над месивом из воды и снега.

Когда глаза начали привыкать к свету, а уши к тишине, Крапивину стало ясно: он видит и слышит лучше, отчетливее, чем когда-либо. Какое-то сухожилие хрустнуло у него меж лопаток так громко, словно винтовочный выстрел раздался. Далекий подлесок на взгорке за рекой возник в глазах с такой явственностью, что можно было различить чуть ли не каждую его буро-зеленую хвоинку. Раненый насторожился. Теперь со своей «вышки» он получил возможность увидеть, откуда так долго долбили фашисты по остаткам его отряда. Интересно, думал Крапивин, ушел немец или затаился, ждет, не подымутся ли не добытые им партизаны?

«На всякий случай в оба смотри, Крапивин, изготуись к стрельбе, ты ведь стрелок-отличник и десятка вроде не робкого».

Он, разумеется, точно так бы и поступил. Изготовился бы, и пришла бы к нему вся его партизанская выучка, только вот... Крапивин застонал от обиды и злости, когда почувствовал: еще больше занемели руки, стали совсем чужими и без того недвижимые ноги. Деревяга он, вроде этого круто задранный кверху, обуглившегося бревна, к которому пригвожден осколками, прикипел собственной кровью.

«А позиция ничего, высоко вознесло меня бревнышко! — тем не менее прикидывал Крапивин, приглядываясь то к одной, то к другой складке противоположного берега. — Вон там, там и там огневые точки врага. Любая из них в случае чего у меня под прицелом. Вот пригреет как следует солнышко, отойдут мои руки-ноги, и — знай наших!»

Солнце и в самом деле скоро стало греть совсем не по-зимнему. Тяжелое, красное, оно повисло прямо над Крапивиним, и он все сильнее ощущал его тепло. Однако время шло, а цепи, сковавшие раненого, врезались в тело все сильнее, все крепче прикручивали его к проклятому бревну, которое к тому же вдруг начало непонятно отчего резко вздрагивать, словно под ударами плотничьего топора.

На третьем-четвертом ударе Крапивин понял: засек его снайпер, пристреливается. В буро-зеленой дали подлеска с перерывами в несколько минут вспыхивали и гасли еле различимые при солнечном свете синие искры. Потом долетал звук, и новый удар топора приходился то на один, то на другой конец бревна. Крапивин ясно представил себе, как острая сталь отгрызала от бревна под ним щепу за щепой, словно горбыль стесывала.

Одного пока не мог уяснить Крапивин — издевается над ним

фашист, к медленной смерти приговорил или все же расстояние подводит? Ни одна пуля пока не тронула партизана, хотя был он весь на виду — выбирай, куда положить первую и последнюю. «Ну, выбирай, выбирай, дьявол тебя разрази! Человек перед тобой. Какой-никакой, на бревне распятый, истекший кровью, а все равно человек. Давай, вколоти поточней, слышь, будь и ты хоть малость, но человеком!»

Мольба эта была наконец услышана в подлеске. Перестали зря щепки лететь. Вот одно плечо обожгло, вот другое. Вот воздухом чуб шевельнуло, потом каждая новая пуля стала куда надо ложиться.

Уже несколько прямых попаданий насчитал Крапивин и стал даже удивляться тому, что все еще жив. А фашист все жучил и жучил. Он в свое цейсовское стекло видел небось, что дышит еще его жертва. «Можно ли с такой дистанции рассмотреть в цейс лицо человека? — пробовал определить Крапивин. — Скорей всего, можно. Иначе с чего бы ему пулять? Видит, паразит, все отлично».

Вот еще одна пуля. Вот еще одна. На пятой или шестой оборвался крапивинский счет...

Провалился партизан еще в одну глубокую воронку, откуда выход был только один-разъединственный. Так бы тому, конечно, и быть, ежели по всем правилам. Только, видно, недаром когда-то матушка его говаривала, будто в рубашке старшенький ее родился. «Старшенький» смеялся, спрашивал, не в холщовой ли, часом? Мать отвечала: в холщовой, сынок, в холщовой, в домотканой, белой, как снег. Вот те крест святой, в домотканой!..

И вот еще раз пригрело партизана той зимою солнце. Только было оно уже не красным, а огненно-желтым и висело не над Крапивиным, как в Черном лесу, — пробивалось откуда-то сбоку, сквозь слюдяное окошко, вшитое в жесткий брезент палатки, скользило лучом по лицу, по рукаву холщовой рубашки — домотканой, чистой, бело-снежной...

Крапивин лежал, а над ним колдовала медицина полевого госпиталя с усатым врачом во главе. Тот осматривал и переосматривал Крапивина сам. Путааясь в портупоях бесчисленных бинтов, густо пропитанных кровью и темной, как деготь, мазью, он недоуменно пожимал плечами, а глубокие морщины на лбу у него уползали под шапку-ушанку. Врач делал какие-то записи в книжечке, черкал-перечеркивал их, писал все сначала и в конце концов не удержался, спрыснул:

— Как же вы выкарабкались такой? На вас же места живого нет!

— Потому, может, и выкарабкался, что ни черта уже не чувял, — спокойно сказал Крапивин. — Он жучит и жучит, я лежу и лежу. Да еще мороз подсобил — стал прихватывать к вечеру. Заморозка, одним словом, получилась. Только сейчас отпускать начинает. Потому, небось, и болит. Но я вытяну, не беспокойтесь, особо если своих сыщу.

Где они, доктор? Скороходов, Рябов? Что с ними? Подобрали их? Они рядом со мной были, совсем близко.

— Про Скороходова и Рябова ничего не знаю, не поступали,— ответил доктор,— но наведу справки, непременно наведу. А вы, Крапивин, обязаны вытянуть, если совесть у вас есть: мы на вас все последние бинты наматали. Но, честно говоря, такого количества ранений у одного человека я не видел за всю свою практику. Вы понимаете, за всю практику! — несколько раз подчеркнул врач.— Так что обязаны, слышите?

Крапивин слышал хорошо, еще лучше, чем в Черном лесу. И видел отлично. Со слухом и зрением у него вообще по-прежнему все было в полном порядке. А остальное-прочее наладится, думал он. И действительно приложил все силы к тому, чтобы не подвести людей, ибо совесть у него, конечно, была и по сей день не израсходована вся полностью. Кое-что про запас оставлено.

«Потому-то, наверно, и выдюжил,— думал сегодня, много лет спустя, Крапивин.— Даже раны редко теперь болят — разве что по ночам и то больше к ненастной погоде».

Лежит вот так рядовой первой воздушно-десантной дивизии, партизан, на скрипучей кровати поздней ночью, ранним утром — глаза в потолок, думу думает.

Эх, Крапива, Крапива, какой герой из тебя? Горе луковое! Один наркомзем чего стоит! Благодарю судьбу за то, что никто не догадывается о нем, даже Шуренок. Правильно делаешь, что помалкиваешь на ветеранских пирушках, очень хорошо.

И еще хорошо, что весной этой, чуть сошел снег, за многие годы все-таки выкроил времечко, съездил под Колочь, отыскал там Черный лес, который постепенно снова становится лесом. Часа два или три лазил под старыми корягами, между обгоревшими стволами, утонувшими в новой зелени. Узнавал и не узнавал те места, а под самый конец, считай, крупно тебе повезло, Крапивин,— неожиданно-негаданно набрел на масленку о двух горлышках. Помнишь, как кнуло сердце? Еще бы! Знал, чудес не бывает — все давным-давно подобрано и переподбрано следопытами или съедено ржой. А эта лежит обросшая мохом и хоть бы что! Поднял, конечно, масленочку, встряхнул у самого уха, услышал знакомый шорох внутри. Ясное дело, и масленка не та и табачок другой, а все же положил в карман, привез домой единственный свой трофей, поставил на полочку возле кровати.

Обе крышки масленки плотно завинчены, но из-под них просачивается в комнату острый, горький запах недокуренной кем-то махорки. Он-то скорей всего и не дает спать по ночам. Не дает сегодня, не давал и вчера. Трамвай, собаки и даже старые раны, пожалуй, тут ни при чем.

Бывают у солдат бессонные ночи.

Впрочем, не только у солдат. Крапивин недавно заметил — у Шуренка свет горит иной раз до утренней зари. С уроками у него вроде бы все в полном ажуре, а он все сидит и сидит за столом, шестит бумагой, а то и на машинке одним пальцем стучать примется. И так всю ночь напролет. А утром, за завтраком, невыспавшийся, бледный, вдруг спросит, не взялся ли дед записывать, что было с ним на войне. И, услышав очередное «не взялся, конечно», тяжело вздохнет:

— Ну и зря! Очень, очень напрасно. У тебя ж там и в десанте и в партизанах — герой на героя. Один Черный лес чего стоит, ты не думай, я знаю все. Кстати, на карте его показать можешь?

— Кого? — не поймет дед.

— Не кого, а чего,— деликатно поправит внук.— Черный лес, говорю, хорошо бы на карте увидеть.

— Вон ты о чем! Только на трехверстке — там каждый куст обозначен. У партизан такая карта козырной звалась. На вес золота!

— Вот на козырной и покажи. У тебя в шкафу ворох всяких карт. Ну, пожалуйста. Позарез требуется! И напомни, дед, кто был командиром первой воздушно-десантной в самом начале? Кочевой?

— Да к чему тебе все это? — удивится дед.

— Нет, ты сперва скажи, Кочевой? А когда его не стало? После боя под Карловкой? Федюнин? Павел Алексеевич? А комсомолом кто ведал? Тропарев, да? Не путаю? Мне точно знать надо, учти.

— Комсомолом... комсомолом...— Дед наморщит лоб, силясь вспомнить.— Что-то подзабыл я, Шуренко. Тропарев вроде бы.

— Ну как же, дед? Тро-па-рев. Из-под Ленинграда. А после него Васильев Михаил, ростовчанин. Правильно? Его еще все звали Михвасиком. Звали?..

Наздает внук вот так сто вопросов деду, сто задач перед ним поставит и умчится в институт, находящийся на другом конце города.

Деду добираться до своей работы ближе, он выходит из дома чуть позже Шуренка. В автобусе еще успевает вздремнуть четверть часика, наверстать упущенное за ночь. Но и тут, сквозь дремоту, до самой «Октябрьской зари» продолжает думать солдатскую думу. О чем она? Все о том же. О войне, о Победе, о том, какой ценой досталась. И, конечно же, об однополчанах, с которыми посчастливилось прошагать все дороги, все пути и с которыми теперь навеки вместе.

Уже миновав проходную завода и влившись в поток людей, направляющихся в цеха, Крапивин ловит себя на одной любопытной мысли. В какое-то мгновение ему вдруг начинает казаться, что поток этот — строй. Что идут они все не только дружно, но даже в ногу. Да, да, именно в ногу, черт возьми, как когда-то хлопцы в воздушно-десантной!..

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Дыхание костра	3
Селеновая вахта	30
Бессонные ночи (<i>рассказ</i>)	56

Виктор Петрович ТЕЛЬПУГОВ

ДЫХАНИЕ КОСТРА

Редактор М. М. Жигалова
Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 14.12.84. Подписано к печати 08.02.85. А 03629. Формат 70×108^{1/32}.
Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-
изд. л. 4,24. Усл. кр.-отт. 2,98. Тираж 85 000. Изд. № 529. Зак. № 4034. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● Сотни тысяч человек постоянно занимаются оздоровительным бегом на стадионах, построенных и реконструированных с помощью доходов лотереи «Спортлото».

● Каждый участник этой популярной лотереи вносит вклад в развитие физкультуры и спорта, помогает спортивному строительству.

● Тиражи лотереи «Спортлото» проводятся каждую неделю. Билет лотереи участвует в тираже двумя вариантами номеров. Он считается выигрышным, если с результатами тиража совпадут не менее трех номеров в одном из вариантов. Выигрыш — от трех до 10 000 рублей.

● Желаем вам, дорогие друзья, удач в игре, успехов в физкультуре и спорте.

**Главное управление спортивных
лотерей Спорткомитета СССР**